Салман Рушди
Стыд

OCR: Tartl
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=139723

Аннотация

РУШДИ Сальман (р. 1947), английский писатель. Выходец из Индии. В остросоциальных романах «Дети полуночи» (1981), «Стыд» (1983), «Сатанинские стихи» (1988) современная действительность (в т.ч. судьба индийских эмигрантов) представлена в фантасмагорической форме. За последний роман заочно приговорен аятоллой Хомейни к смертной казни по обвинению в антиисламской направленности (Рушди вынужден скрываться от мусульманских фанатиков), что вызвало протесты международной общественности.

Содержание

Книга 1. 3
Глава первая. 3
Глава вторая. 12
Глава третья. 23
Книга 2. 31
Глава четвертая. 31
Глава пятая. 40
Конец ознакомительного фрагмента. 47

Сальман Рушди
Стыд

Посвящается Самину

Книга 1.
На волю из родных краев

Глава первая.
Лифт к затворницам

В далеком пограничном городке К.,очертания которого с высоты напоминают, увы, кривобокую гантель, жили некогда три сестры; лица их были исполнены красоты, а души – любви. Звали их… впрочем, настоящими именами пользовались не чаще, чем заветным фарфоровым сервизом, навечно сокрытым и забытым в каком-то шкафу после печальных событий в семье. И сервиз из тысячи предметов, сработанный еще в царской России умельцами на гарднеровских заводах, превратился едва ли не в легенду – полноте, да был ли сервиз-то?! Однако пора незамедлительно вернуться к трем сестрам: они носили фамилию Шакиль, а выстроив их по старшинству для переклички, установим, что иначе как Чхунни, Муни и Бунни их никто не величал.

И вот однажды у них умер отец.

Престарелый господин Шакиль – вдовец с восемнадцатилетним стажем – по стародавней привычке называл родной город «чертовой дырой». В предсмертном, бредовом, многословном, хотя и малопонятном монологе домашняя прислуга, путаясь в лабиринтах хозяйского красноречия, разобрала лишь похабщину, брань да проклятия, столь обильные и неистовые, что, казалось, у постели взвихрился маленький смерч. Давно отошедший от мирской суеты старик в последнем слове исторгал копившуюся всю жизнь злобу на родной город. То он призывал силы ада обратить в прах низенькие, поносного цвета домишки, невпопад лепившиеся к базару; то обращал уже подернутые смертным ледком проклятия на чистые и опрятные особняки военного городка. Собственно, эти два района и составляли округлые разновеликие бока «гантели». В старом городе жил местный люд, неимущий и угнетенный; в новом – пришлые угнетатели, ангрезы, то бишь британские сахибы. Господин Шакиль люто ненавидел и тех и других, Долгие годы провел он, добровольно заточившись в своем огромном доме, почти все окна которого выходили в сумрачный – колодцем – двор. Стоял дом на пустыре, равно отдалившись как от района торгового, так и от военного. Со смертного одра господину Шакилю через едва ли не единственное, глядевшее на белый свет окно была видна громада гостиницы, словно мираж выросшей в военном городке. В ее холлах блестели золотые урны и плевательницы, сновали ручные обезьянки в униформе с медными пуговичками, в залах с лепными потолками по вечерам играл настоящий оркестр, в буйной зелени диковинных растений благоухали чайные розы и белые цветы магнолии, тянулись вверх изумрудно-зеленые пальмы. И хотя ее золоченый купол давным-давно дал трещину, он все же до рези в глазах отливал закатным великолепием дней минувших. Под его сенью ежевечерне собирались лощеные офицеры-ангрезы, штатские в белых манишках и галстуках, жадноглазые дамы, увешанные ожерельями и колье. Они приходили потанцевать в блестящем, как им мнилось, обществе, хотя блестели лишь их белые, точнее, блед-

ные лица, да и то от пота, так как их нежная, умащенная морскими туманами кожа страдала от пагубного влияния палящего солнца и красного бургундского – только безумцу может прийти в голову распивать вино в полуденном пекле и с очаровательной беспечностью издеваться над собственной печенью.

Старик прислушался к музыке, тешившей проклятых колонизаторов в нарядной гостинице – не иначе, и их последний час настает, – и зычным голосом предал анафеме зыбкую, миражем манящую гостиничную суету.

– Закрой окно! – крикнул он старухе служанке Хашмат-биби. – Не хватало еще под эту какофонию умирать.

Ставни плотно сомкнулись, старик успокоился, собрал остатки сил и изменил течение своего предсмертно-бредового монолога.

– Скорей! Скорей сюда! – принялась созывать его дочерей служанка. – Ваш отец, никак, сам в ад напрашивается!

Это господин Шакиль, закончив язвить белый свет, обратил всю ярость на себя самого, вытребывая собственной душе вечное проклятье.

– Ох, не туда, не туда его понесло! – сокрушалась Хашмат-биби. – Какая муха его укусила?

Растить дочерей вдовцу помогали кормилицы (из огнепоклонников), малолетние няни-айи (из христиан) и мораль (преимущественно мусульманская), что крепче булатной стали. Впрочем, Чхунни говаривала, что отцовский характер еще больше закалился под палящим солнцем. Всю жизнь он не выпускал дочерей за порог необъятного дома-лабиринта, отказал им в образовании, заточив в женской половине особняка. Девушки развлекались тем, что болтали на самодельных языках, непонятных чужому уху, да строили самые невероятные предположения, как выглядит голый мужчина. В раннем девичестве их неуемное воображение рисовало мужские половые органы в виде ямочек на груди – этакие уютные гнездышки, куда поместились бы девичьи сосцы. Все дело в том, как впоследствии поочередно вспоминали сестры, что по их тогдашнему разумению «зачатие происходило посредством грудей». Отбывая свой неопределенно долгий срок заключения, узницы пришли к полному и нерушимому единению мыслей и чувств. Вечерами сестры сидели подле резного решетчатого окна, откуда виднелся золотой гостиничный купол, и, зачарованно раскачиваясь в такт, прислушивались к музыке. А еще ходили слухи, что послеобеденный отдых сестры проводили во взаимных ласках. А по ночам они будто бы не гнушались и черной магией, дабы побыстрее спровадить отца на тот свет. Впрочем, чего только не болтают злые языки, особенно о красивых молодых женщинах, недоступных плотоядному мужскому взору. Достоверно лишь одно: именно в те годы, задолго до столь возмутительного появления на свет ребенка,

вся троица, тосковавшая о детях со всей силой неискушенного девичества, заключила негласный договор – никогда не разлучаться, навсегда сохранить взаимную привязанность, даже когда появятся дети. То есть грядущих сыновей они постановили воспитывать вместе, втроем. Совсем уж грязные сплетники утверждают (хотя и бездоказательно), что договор этот был написан и подписан кровью юных затворниц, причем кровью ежемесячных женских тягот. Потом бумагу якобы предали огню, а содержание навечно сохранилось в самых сокровенных уголках тройственной памяти.

В ближайшие двадцать лет сестрам суждено вырастить лишь одного ребенка. И наречут его Омар-Хайамом.

Происходило все это в четырнадцатом веке мусульманского, ра зумеется, летосчисления. Не сложилось бы у вас впечатления, что рас– сказ мой о далеком-далеком прошлом. Время, увы, не столь однородно, как, скажем, молоко; и в краю, о котором идет речь, до самой не– давней поры царило прямо-таки средневековье – как-никак четырнадцатый век.

Хашмат-биби предупредила сестер, что отец их вот-вот распрощается с жизнью; те облачились в лучшие наряды и отправились к умирающему. Старик хрипел и задыхался в железных тисках совести: он мрачно требовал, чтобы Всевышний определил ему место вечных страданий на самых что ни на есть задворках ада. Потом он смолк, и Чхунни, старшая из дочерей, не замедлила задать единственно важный для всей троицы вопрос:

– А правда, отец, что мы теперь заживем богато?

– Продажные твари! – бросил им на прощанье страдалец. – Ни шиша вы не получите!

Полноводная река благополучия, в которой, если верить молве, семейство Шакиль выудило не одну золотую рыбку, оказалась на (поверку давно пересохшим ручьем. Выяснилось это на утро после смерти старого сквернослова. Не один десяток лет удавалось господину Шакилю скрывать свою деловую несостоятельность; тому способствовала и личина солидного отца семейства, и вздорный характер, и несказанная гордыня (самое вредоносное наследство дочерям). Одним словом, перед сестрами раскинулась выжженная пустыня банкротства, и все дни, отведенные обычаем для скорби и траура, они провели, рассчитываясь с отцовскими кредиторами, кои не смели докучать ему при жизни, зато теперь требовали незамедлительной выплаты всех долгов, да еще с процентами! И горделивые узницы, почуявшие ветерок свободы, лишь презрительно скривились: ишь, стервятники, кружат над остатками пущенных на ветер богатств, норовят поживиться! Сызмальства девушек приучили: некоторые вопросы – в том числе и денежные – с посторонними не обсуждают. Поэтому без долгих разговоров, не глядя, они подписывали счета направо и налево, и богатейшие земли отца (едва ли не все плодородные поля и сады в округе, где условия для земледелия далеко Не самые благоприятные) обрели новых многочисленных хозяев. А сестрам остался лишь огромный безалаберный дом с несметным количеством утвари, заполнившей комнаты, да несколько слуг – призраков прошлых дней. Они отказались покинуть дом, но отнюдь не из одной только преданности. Их жизнь тоже прошла в заточении, и нежданная свобода страшила пуще смерти. Оказавшись в бедственном положении, сестры повели себя достойно, в лучших аристократических традициях – они решили устроить званый вечер.

Много лет спустя сестры вновь и вновь делились воспоминаниями о том скандально-незабываемом вечере, и лица их озарялись простодушными, веселыми улыбками: может, им казалось, что молодость не обошла их стороной?

– Пригласительные билеты я заказывала в гарнизоне, – заводила Чхунни Шакиль, устраиваясь подле сестер на старом деревянном диване. Довольно хохотнув над былым приключением, продолжала: – Ах, что это были за билеты! С золотым тиснением, картон плотный – не согнуть! Каждый – точно плевок в лицо судьбы!

– И в лицо покойного папочки! – подхватывала Муни. – Он бы закричал: «Совсем стыд потеряли! Распустились вконец! Родного отца в грош не ставят!»

– Не мудрено! – вставляла Бунни. – Нам от него ни гроша и не перепало!

Поначалу сестры думали, что угрызения совести, посетившие отца в последние минуты, связаны с грядущей нищетой дочерей. Однако потом думы их настроились на более прозаический лад.

– А что, если перед смертью ему увиделось наше будущее? – предположила Чхунни.

– Хорошо бы! Тогда б он умер в таких же муках, в каких принуждал нас жить! – заключили сестры.

Быстро облетела городок весть о том, что сестры Шакиль «выходят в свет». Настал долгожданный вечер, и дом заполонили виртуозы-музыканты. Впервые за двадцать лет в этих пуританских стенах весело зазвучали трехструнные домры, семиструнные саранды, запищали свирели, забили барабаны; полчища булочников и кондитеров нагрянули с обозами всякой снеди —враз опустели витрины их заведений. Зато шатер, поставленный во дворе, ломился от яств, его зеркальные стены множили роскошь и изобилие. Все же чван-

ство, которым с младенчества вскармливал дочерей старый Шакиль, самым пагубным образом сказалось на приглашенных. Достопочтенным гражданам К. нанесена смертельная обида: им отказали в обществе трех блистательнейших девушек города, обделили пригласительными биллетами с золотым тиснением, о которых только и судачили все вокруг. Сестрам ставилось в вину и другое: они попрали правила хорошего тона еще и тем, что, отказав достойнейшим из достойных, разослали золоченые карточки в дома ангрезов – этим завсегдатаям балов! А подлинным старожилам (за редчайшим исключением) так, по сути дела, и не довелось переступить заветно-запретный порог. Зато целая толпа иностранцев, в которой преобладали военные мундиры, вечерние платья и чужеродный язык, после традиционного коктейля в гостиничном ресторане направилась к дому сестер Шакиль! Ох уж эти колонизаторы! Бледнолицые сахибы и их бегум в непременных перчатках. Нарочито громкий, вызывающий говор, ослепительно-снисходительные улыбки. И всю эту ораву поглотил зеркальный шатер.

– В тот вечер и спиртное подавали! – даже много лет спустя, вспоминая об этом, бабушка Чхунни радостно-изумленно всплескивала руками. Но в определенный момент воспоминания вдруг обрывались и никто из старушек не брался объяснить толком этот коллективный провал в памяти. Не берусь объяснить и я череду невероятных слухов, потянувшуюся после того памятного вечера во мрачном чреве прошлого.

Одни, например, утверждают, что гости из местных – богатеи-заминдары с женами, чьи капиталы, впрочем, не шли ни в какое сравнение с былыми миллионами Шакиля, – простояли весь вечер тесной злобной кучкой, уставясь на резвящихся сахибов-ангрезов.

По другим свидетельствам выходит, что вышеупомянутые господа из местных убрались восвояси, не пробыв и пяти минут, так сказать, не преломив хлеба с хозяйками, бросив их на произвол властелинов– < колонизаторов.

А можно ли верить слухам, дескать, сестры точно на торжественном параде обходили господ офицеров (причем девичьи глаза прямо-таки сверкали от избытка сурьмы и чувств) и молча оглядывали каждого: достает ли лоска усам, мужества—крутым подбородкам? А затем (опять же согласно легенде) три сестры разом хлопнули в ладоши и заказали музыкантам европейские танцы: менуэты, вальсы, фокстроты, польки, гавоты. И воистину демоническая сила исходила от инструментов не жалевших себя маэстро.

Танцевали, если верить молве, всю ночь напролет. Разумеется, и одного этого пиршества хватило бы, чтобы обвинить новоявленных сироток во всех смертных грехах, но самое страшное ждало впереди. Кончился праздник, разъехались музыканты, бездомные собаки сожрали горы объедков и нетронутых блюд – та же высокородно-благородная спесь не позволила нашим героиням отдать беднякам пищу, предназначавшуюся для избранных. И пополз по городским базарам слушок, мол, в ту разудалую ночь одна из задавак-сестер что-то потеряла и что-то очень скоро обретет – прибавление в семействе, так сказать.

О, какой стыд! Стыд и срам!

Впрочем, если сестры Шакиль и страдали от бесчестья, то не подавали виду. Они отправили одну из оставшихся служанок – Хаш-мат-биби – в город. Там она передала кое-какие поручения искуснейшему ремесленнику, некоему Якубу-белуджу, а еще купила самый большой замок, который отыскался в скобяной лавке. Замчище этот был столь велик, что пришлось нанимать мула. Погонщик полюбопытствовал:

– А что твоим госпожам запирать-то? Их уж и так подчистую обобрали.

Верная Хашмат свирепо свела к переносице глаза и ответила так:

– Чтоб ты сам нищим подох! Чтоб внуки твои ссали на твою могилу!

В старой карге удивительно сочетались олимпийское спокойствие и неуемная свирепость. Якуб – мастер на все руки – как зачарованный беспрекословно исполнял все ее приказы. Она велела соорудить со стороны улицы необычайный лифт, подъемник без дверей,

наподобие тех, в которых доставляют из кухни в ресторан готовые блюда – только просторнее, чтоб вмещал трех человек. На нем с помощью рычагов, тросов и моторов любой груз можно было поднять на верхний этаж. Причем Хашмат-биби особо указала, что управляться лифт должен из дома, да так, чтобы обитательницам не то что из окна высовываться, пальчика своего улице не показывать. Предусмотрела она и меры безопасности.

– Здесь поставь пружину. Чтоб в доме нажали, а днище б откинулось. А вот здесь, здесь и здесь запрячь в стенки кинжалы подлиннее да поострее – тоже на пружинах. Кнопку нажмешь, а они – раз! – и выскочат. Тогда уж к моим хозяйкам никто без спроса не сунется!

Много еще ужасных секретов таил подъемник. Сам Якуб так ни разу и не лицезрел сестер. Закончил он работу, а вскорости умер в придорожной канаве, корчась от боли и держась за живот. И опять попеняла сестрам молва: отравили умельца бесстыжие бабы, чтоб не сболтнул чего о своей последней столь загадочной поделке. Впрочем, справедливости ради отметим, что медицинское заключение никоим образом не подтвердило слухи. Якуба-белуджа, оказывается, уже долго донимали время от времени боли справа в низу живота, и умер он, очевидно, самым естественным образом: от банального, хотя и рокового перитонита или от чего-нибудь подобного, но отнюдь не от злых козней мнимых отравительниц.

В один прекрасный день трое из оставшихся в доме слуг-мужчин наглухо затворили массивные с медной окантовкой двери. В последний раз перед кучкой зевак мигнул тусклым металлом огромный замок на тележке в сумрачном чреве дома, ознаменовав начало более чем полувекового затворничества сестер. Закрылись двери, заскрежетал

ключ в замке, и удивительное отшельничество обитателей дома началось.

Не напрасно ходила в город Хашмат-биби: она оставила в запечатанных конвертах подробнейшие указания местным торговцам и ремесленникам. И с той поры по установленным дням и часам к последнему детищу Якуба приходили: доверенная прачка, портной, сапожник, избранные торговцы мясом, фруктами, галантереей, цветами, почтовыми товарами, овощами, книгами, безобидными напитками, зарубежными журналами, газетами, умащиваниями, духами, сурьмой, полосками эвкалиптовой коры – чистить зубы; приносили пряности, крахмал, мыло, кухонную утварь, рамы для картин, игральные карты, струны. Торговцы подавали условленный свист, лифт, шурша, опускался, в нем лежала записка с заказом. Таким образом, сестры Щакиль полностью устранились от мира, по доброй воле вернувшись к затвору, конец которого они едва успели отпраздновать после отцовской кончины. Но обставили они все и на этот раз с таким чванством, что и само затворничество воспринималось как новая прихоть их безудержной гордыни, а отнюдь не как раскаяние в собственном жестокосердии.

И тут – пикантный вопрос: а как сестры расплачивались с торговцами?

Мои героини стыдливо потупятся, а я хоть отчасти воздам читателям за многие и многие неотвеченные вопросы, застывшие немым укором, и приоткрою тайну, докажу, что в самых крайних случаях автор все-таки в состоянии дать вразумительный ответ: последний запечатанный конверт Хашмат-биби оставила на пороге наименее почитаемого в городе заведения. Там чтят не Коран, а векселя, там полки ломятся от неисчислимых полуистлевших реликтов… Ах, пропади пропадом это заведение. Короче и честнее говоря, Хашмат-биби навестила ростовщика. Был он неопределенного возраста, худой как щепка, смотрел невинно и широко. Звали его Пройдоха, и вскорости он тоже объявился у подъемника (как и предписывалось) под покровом ночи, чтобы оценить все, находящееся в доме, и незамедлительно выдать наличными сумму в 18,5% от продажной стоимости заложенных вещей без права их выкупа. Так три матушки грядущего Омар-Хайама воспользовались прошлым (единственным своим достоянием), чтобы обеспечить будущее.

Так кто же из троих ждал ребенка?

Может, старшая, Чхунни? Средненькая – Муни? Или младшая (сущее дитя, можно сказать) – Бунни? Никто так этого и не узнал, даже когда ребенок появился на свет. Сестры держались единым фронтом, во всем до мелочей повторяя друг друга. А слуг они заставили– даже в голове не укладывается —присягнуть на Писании! Те, кто разделял с сестрами добровольное заточение, покидали дом разве что ногами вперед, завернутые в белое, и, разумеется, с помощью все того же механизма Якуба-белуджа. За девять месяцев ни разу не вызывали доктора. Все же сестры понимали, что с каждым днем их тайна все больше и больше норовит упорхнуть в окно, или просочиться под дверь, или уползти в замочную скважину – то есть стать достоянием всех и вся, И они дружно препятствовали этому, втроем выказывая все признаки беременности – одна, так сказать, поневоле, двое других – искусно притворяясь.

Старшую и младшую сестру разделяли пять лет. Но одевались все трое совершенно одинаково. И видимо, из-за долгой совместной затворнической жизни они стали совсем не отличимы одна от другой. Порой их даже путали слуги. Поначалу я назвал их красавицами, хотя ни столь любимых здешних поэтами «ликов, подобных луне», ни «глаз – что миндаль» у них и в помине не было. Волевые подбородки, коренастые фигуры, твердая поступь – все это сочеталось с невыносимо-притягательным обаянием. И вот все трое одновременно начали раздаваться в бедрах, у них стали наливаться груди. Случись, затошнит одну, остальных тут же выворачивало наизнанку, причем их сердобольные позывы совпадали с точностью до секунды, так что не определить, у кого раньше взыграло в желудке. Одновременно росли и животы, обозначая скорое разрешение. Очевидно, достигалось это механическими средствами – подкладками и подушками; солями, вызывающими обморок или рвоту. Но такое прозаическое объяснение (для меня вполне убедительное) выхолостило бы суть – взаимную любовь сестер. Бее трое так жаждали материнства, так хотели обратить позор внебрачной связи в безоговорочное торжество исполненного желания, что, ей-богу, вопреки всем законам природы, беременности настоящей могли сопутствовать две ложные, а до мелочей одинаковое поведение объясняется тем, что сестры жили, думали, чувствовали как единый организм.

Спали они в одной комнате. Пристрастия у них были одни и те же: к марципанам, жасмину, орехам, косметическим маскам – и возникали одновременно. Прочие запросы их организмов тоже совпадали. Весили они одинаково, уставали одновременно, просыпались минута в минуту – будто кто по утрам звонил в колокольчик. Даже схватки у всей троицы были одинаковы, три чрева готовились исторгнуть одного младенца. Три тела корчились и извивались в такт, словно в хорошо отрепетированном действе. Возьму на себя смелость утверждать, что и роды были мучительны для всех троих. Каждая выстрадала право называться матерью. Появился на свет малыш, и уж не определить, у кого из матерей отошли воды, чья рука заперла изнутри дверь спальни – нет, имя роженицы мне определенно не угадать. Ни один человек не присутствовал природах, как истинных, так и фиктивных. Никто не видел, как лопнули надувные шары у двух сестер, а у третьей меж бедер показалась головка совершенно незаконного ребенка. Не узнать, чья рука подняла Омар-Хайама за ножки и шлепнула по попке.

Итак, наш герой издал первый крик в стенах невероятно огромного особняка, в котором и комнат не счесть, открыл глаза, и его перевернутому взору предстало распахнутое окно, за ним – на горизонте – зловещие вершины Немыслимых гор. Но все же которая из матерей подхватила его и шлепком понудила к первому вздоху? Не спуская глаз с опрокинутых гор, младенец заорал.

Хашмат-биби услышала, как отперли дверь спальни, осторожно и робко вошла – принесла поесть и попить, свежие простыни, губки, мыло, полотенца. На необъятной постели, где некогда скончался хозяин дома, сидели три сестры. Кровать являла собой огромный

помост красного дерева о четырех резных столбцах, по которым змеи-искусители подбирались к райским кущам, вытканным по парчовому балдахину. Сестры светились радостью и смущением, как, собственно, и подобает молодым матерям, и по очереди кормили малыша грудью. Сосцы у каждой были влажны!

Исподволь крохе Омар-Хайаму внушалось, что его появлению на свет сопутствовали некоторые, так сказать, отступления от принятых норм. О тех, что предваряли его рождение, уже достаточно сказано, о последующих речь ниже.

Исполнилось Омар-Хайаму семь лет, и старшая мама, Чхунни, призналась:

– Я наотрез отказалась благословлять тебя именем Божьим. Миновал год, и настал черед средней мамы – Муни:

– Я так и не позволила обрить тебя. Ты народился с чудесными черными-пречерными волосами. Разве я могла допустить, чтобы их сбрили? Ни за что!

А на девятый день рождения младшенькая мама сурово поджала губы и изрекла:

– Ни за что на свете не разрешила бы делать тебе обрезание. Что еще за фокусы! Это ведь не банан очистить.

Так и вступил в жизнь Омар-Хайам без положенного обрезания, бритья головы и благословения. «Разве это полноценный человек!» – воскликнут многие.

Родился он на смертном одре деда, испросившего себе для вечного поселения задворки ада, а его мятежный дух обосновался меж шторами и москитной сеткой. Первое, что явилось младенческому взору, – опрокинутые горы. И представление о перевернутом мире сызмальства не покидало Омар-Хайама: все-то на белом свете вверх тормашками. Или того хуже: ему казалось, что он живет на самом краешке мироздания и вот-вот упадет. Сидя за старым телескопом у окна на верхнем этаже, он разглядывал пустынные окрестности и все больше проникался мыслью: живет он на самом краю света, и за Немыслимыми горами на горизонте – великое Ничто, этакая бездонная пропасть, куда он неизменно падал в кошмарных снах. Тревожила в этих снах какая-то предопределенность, мол, летишь в тартарары – и поделом, так тебе и надо… Он просыпался весь в поту и видел над собой все ту же москитную сетку. Порой он даже вскрикивал от безысходности, ведь сны без обиняков говорили о его никчемности. Малоутешительное откровение.

Именно в этом, не очень-то еще сознательном возрасте и решил Омар-Хайам (причем решил – как отрезал, на всю жизнь!) побольше бодрствовать и поменьше спать по ночам. Неустанная борьба эта привела его в конце жизни, когда жена его превратилась в… нет, нет, не следует забегать вперед, пусть в рассказе все идет своим чередом: за началом – середина, за серединой конец. И не указ нам новомодные научные опыты, из которых выводят, что в определенных замкнутых системах под высоким давлением время может повернуть вспять и следствия с причинами поменяются местами. Пусть. Нам, рассказчикам, не след к этому заманчивому приему прибегать, чтоб разум не померкнул! [1] Так вот, возвращаясь к сути: Омар-Хайам приучил себя довольствоваться легкой, непродолжительной (минут сорок) дремотой, этого хватало, чтобы восполнить к утру запас сил. Возможно ль, чтоб в голове ребенка родилась мудрая мысль: уж лучше зыбкая, как сон, явь, чем пугающе-правдоподобные сны. Матушки, узнав о его ночных скитаниях по бесконечным комнатам, смиренно вздохнули и прозвали его Летучим Мышонком. Холодными зимними ночами Омар-Хайам облачался в широкую темную накидку с капюшоном, и решай сам, читатель, на кого он больше походил: то ли на Летучего Голландца, то ли на Могучего Мышонка.

(Надо сказать, что жена его – Суфия Зинобия, старшая дочь генерала Резы Хайдара, тоже не спала по ночам. Но если Омар-Хайам приучил себя бодрствовать, то бедняжка

[1] Обрывок фразы короля Лира: «Нет, замолчи, чтоб разум не померкнул». У. Шекспир. Король Лир. III, 4, перев. А. В. Дружинина. (Здесь и далее прим. перев.)

Суфия Зинобия мучилась, закрывала глаза, отчаянно терла веки, тщетно пытаясь избавиться от бессонницы, словно от соринки или от непрошеной слезы. А каким пламенем горела она в той самой комнате, где впервые открыл глаза ее суженый и где навеки закрыл свои его дед, подле знаменитого ложа со змеями-искусителями и райскими кущами… ах, это проказливое будущее опять встревает! Мне остается ниспослать на него самые страшные кары, а сцену смерти отправить до поры за кулисы.)

Годам к десяти Омар-Хайам проникся благодарностью к защитницам-горам на горизонте. Они укрывали и с севера, и с юга. Немыслимые горы! Этого названия не найти в самых подробных атласах. Видно, и географам не объять необъятного. Мальчик пристрастился

к.чудесному, блестевшему медью телескопу. Он откопал его в жутких дебрях домашнего хлама. И, разглядывая звезды на Млечном Пути, Омар-Хайам отчетливо понимал, что ни одно тамошнее существо, будь то живой песок или газовое облако, ни за что не отыскало бы своей родной планеты по названиям в затертых омар-хайамовых звездных картах.

– Это наши горы, – говаривал он, – и назвали мы их так неспроста.

Порой на улицах города появлялись и сами горцы, узкоглазые, словно выточенные из камня. (Не столь твердокаменные горожане, завидев их, спешили перейти на другую сторону, дабы избежать нестерпимой вони и бесцеремонного обращения). Обитатели Немыслимых называли их «Крышей рая». Нередко весь горный кряж, а с ним и городок, сотрясались от подземных толчков – сейсмически неблагоприятный район! – и горцы свято верили, что это ангелы прорываются наружу. Много лет спустя младший брат нашего героя и впрямь увидит крылатого человека в золотом сиянии, смотрящего с крыши, а по– ка маленький Омар-Хайам самостоятельно вывел и развил любопытную гипотезу: рай находится не на небе, а внизу, прямо под ногами. Неспроста ангелы колышат твердь, выбираются на свет божий – видать, не безразлична им мирская суета. И под напором ангелов горный кряж то и дело менял очертания. Порой из ярко-желтых склонов вдруг выпирало множество столбов, столь совершенных по форме и богатству геологических слоев на срезе, будто их вытесывали великаны-богатыри в земных недрах. Но вновь появлялись ангелы, и чудесные сказочные башни обращались во прах.

Итак, Ад наверху, Рай – внизу. Я не случайно так подробно описываю теорию омарова окраинного бытия, своеобычную, но зыбкую, как песок: хочется выделить, что вырос он меж двух извечных стихий Добра и Зла, и его недолгий жизненный опыт подсказывал, что силы эти, так сказать, поменялись местами. Оттого-то все в мире и представлялось перевернутым с ног на. голову. Последствия такой убежденности оказались разрушительнее любого землетрясения, да только их не измерить – не придуман еще сейсмограф души. Итак, лишенный обрезания, обривания и благословения, Омар-Хайам чувствовал себя обделенным и неприкаянным.

Рассказ увел меня далеко от дома, прямо под палящее солнце, и, пока его не хватил тепловой удар или не поглотил коварный мираж, спрячу его подальше… Много-много лет спустя, уже на закате жизни Омар-Хайама (будущее, как вода сквозь песок, так и норовит просочиться в прошлое), имя моего героя замелькало во всех газетах в связи с нашумевшими убийствами – убитых находили непременно с оторванной головой! Тогда-то дочка таможенного чиновника Фарах Род-ригеш и вытащила из кладовой памяти случай, который произошел с Омар-Хайамом в отрочестве. Уже в ту пору он был неопрятным толстуном – на рубашке (на уровне пупка) недоставало пуговицы. И однажды он сопроводил тогда еще юную Фарах на пограничный пост милях в сорока к западу от города. Рассказывала Фарах об этом в подпольном питейном заведении, обращаясь ко всем сразу, сопровождая рассказ смехом – некогда хрустально-переливчатым, теперь же – колюче-шершавым, как битое стекло (видно, сказались время и воздух пустыни).

– Вы не поверите, но я клянусь честью! – приступала она. – Не успели мы вылезти из джипа, как откуда ни возьмись облако и садится прямо на пограничную полосу, словно визы дожидается! Так Шакиль до смерти перепугался, даже сознание потерял. Голова пошла кругом, и вот он уж себя не помнит, хотя стоит на твердой земле. Необъяснимое головокружение («стою на краю, вот-вот сорвусь») проклятием преследовало Омар-Хайама даже в его звездный час, когда он женился на дочери Хайдара, а сам Хайдар стал президентом. Одно время Омар-Хайам водил бражную дружбу с богатым повесой Искандером Хараппой, политиком самых левацких взглядов, потом – премьер-министром, потом (уже после смерти) – чудотворящим духом. И как-то, уже изрядно под хмельком, наш герой разоткровенничался с другом:

– Ну что я за человек! Даже в собственной жизни мне главной роли не сыграть. Так меня вырастили – белый свет только в окошко показывали. А теперь вот расплачиваюсь.

– Что-то уж больно мрачно ты на жизнь смотришь, – изрек Искандер Хараппа.

Растили Омар-Хайама ни много ни мало три матери, без единого отца в обозримом пространстве и времени. Загадка, да и только! И к ней добавилась еще одна: Омар-Хайаму шел двадцатый год, когда у него родился брат– очередной плод коллективного творчества трех матушек. Как и в первый раз, все было разыграно словно по нотам. Но задолго до этого не меньшей занозой разбередила душу Омара первая любовь. Неуклюже переваливаясь, тучный юноша тенью следовал за сколь желанной, столь и недоступной некоей Фарах Заратуштрой [2] – пророк и реформатор древнеиранской религаи. получившей название зороастризма. В быту эороастрийцев часто именуют «огнепоклонниками».). Отец ее и впрямь был огнепоклонником, но отнюдь не пророком. Ухаживать за ней пытались едва ли не все окрестные парни, но только один Омар-Хайам, живший словно в коконе, не знал, не ведал, что былые воздыхатели рассудили так: «За Фарах увяжешься – в дураках окажешься» и называли ее «Конец Света».

Подведем итоги: страдает обмороками и неприкаянностью; увлечен девушкой и звездами; мучается от кошмарных снов и ожирения. Ну разве это герой?

[2] Заратуштра (предположительно между 10 – перв. пол. 6 вв. до н. э.

Глава вторая.
Башмачная гирлянда

Примерно через месяц после вступления русских войск в Афганистан я приехал домой: повидать родителей и сестер да похвастать своим первенцем. Живут мои родные в районе «Заставы» – так именуется жилищно-кооперативное общество пакистанской армии – хотя военных у меня в роду нет. Просто «Застава» – престижный район Карачи. Офицерам земля там выделяется почти даром, только построить дом не каждому по карману. А продать пустующий участок не разрешается. Попробуйте-ка построить дом на офицерском участке, и вас ждет замысловатейший контракт: владельцу земли вы платите за нее по рыночной цене, однако земля остается его собственностью. А вам отводится роль этакого славного малого, по доброте душевной одарившего неимущего офицера круглой суммой (надо же и ему свить себе гнездо). Чтобы построить дом по своему вкусу, вы потратите еще кучу денег, и тут новая закавыка: по контракту землевладелец должен назвать еще «третье лицо», так сказать, полномочного распорядителя вашей будущей недвижимости. Выбирать это «третье лицо» вам, и ему, собственно, остается поздравить вас с новосельем, когда строители уберутся восвояси. Итак, вам дважды приходится являть добросердечность и щедрость. По принципу «ты – мне, я – тебе» и застраивалась вся «Застава». Не правда ли, яркий пример беззаветного, жертвенного служения ближнему ради общей цели?

Обставлялось все тонко– комар носа не подточит. Хозяин участка богател, «третье лицо» получало комиссионные, а вы – новый дом. Но главное – не обойден ни один закон! Излишне говорить, что никто не допытывался, по какому праву самый лакомый кус городских земель застраивается подобным образом. И вообще, не в правилах жителей «Заставы» проявлять любопытство. А потому – от сонмища незаданных вопросов не продохнуть.Хотя их зловоние тонет в благоухании садов, аромате цветущих на бульваре деревьев, в запахе дорогих духов местных светских львиц. Населяют «Заставу» дипломаты, заправилы международных фирм, сыновья канувших в Лету диктаторов, модные певички, текстильные магнаты, звезды крикета – эти халифы на час. Район кишмя кишит японскими машинами. А о том, что «Застава» некогда начиналась как офицерский городок и для легковерных слыла символом взаимовыгодного сотрудничества властей гражданских и военных, в городе уже давным-давно забыли. Осталось одно лишь название.

Как-то вечером, вскорости после приезда, я отправился в гости к своему старинному знакомцу – поэту. Я заранее смаковал долгую, неспешную беседу: что-то подумывает мой друг о недавних событиях в Пакистане и, конечно же, в Афганистане. Как и всегда, в доме у него было полно гостей. Странно, толковали лишь о крикетных матчах между Пакистаном и Индией. Мы с другом уселись за стол и начали легкую шахматную партию. Мне, разумеется, не терпелось расспросить его, и поподробнее, о жизни. В конце концов, что пришло на ум, о том я и спросил: что он думает о казни Зульфикара Али Бхутто. Увы, договорить вопрос мне было не суждено, он так и приобщился к сонму незаданных собратьев. А я получил пребольный пинок под столом. Сдержав стон, я тут же переключился на спортивные темы. Еще мы говорили о повальном увлечении видеотехникой.

На смену одним гостям приходили другие, люди собирались кучками, смеялись. Минут через сорок мой приятель вдруг сказал:

– Ну все, теперь можно.

– Так кто же стукач? – догадливо спросил я.

Друг назвал осведомителя, затесавшегося именно в этот круг. Про него все знали, но никто и вида не подавал (иначе он бы просто исчез, и поди потом гадай, кого прислали на его место). Мне довелось увидеть его еще раз: славный малый, судя по речи, образованный, с

открытым лицом. Не сомневаюсь, он бывал рад-радешенек, когда не находил в беседе «компромата». И волки сыты, и овцы целы. И снова я поразился, до чего ж много в Пакистане «славных малых» и каким пышным цветом распустилась в благоуханных садах благовоспитанность.

Пока меня не было в Карачи, мой друг-поэт успел отсидеть год-другой в тюрьме – поплатился за свои связи. Точнее: приятельница его знакомого оказалась женой двоюродного брата троюродного дядюшки одной особы, которая, по слухам, сожительствовала с парнем, переправлявшим оружие повстанцам в Белуджистан. Да, в Пакистане по знакомству возможно все, даже угодить за решетку. И по сей день друг ни словом не обмолвился о том, что пережил в тюрьме. От других узнал я, что вернулся он из заключения совсем больным и долго шел на поправку. Говорят, его подвешивали вверх ногами и били. Новорожденных тоже подвергают подобной процедуре, чтоб заработали легкие и младенец закричал. Я не спрашивал друга, кричал ли он и виделись ли ему в окно опрокинутые горные вершины.

Куда ни повернись, всюду что-то постыдное! Но поживешь бок о бок со стыдом и привыкнешь, как к старому креслу или комоду. В «Заставе» стыд гнездится в каждом доме: искоркой в пепельнице, картиной на стене, простыней на постели. Но никто ничего не замечает. Мы же благовоспитанные люди!

Возможно, моему другу больше пристало сочинить эту книгу, точнее, и сочинять бы ничего не пришлось – хватило бы рассказа о своей жизни. Но с той поры он больше не пишет стихов. И вот приходится выступать мне и рассказывать о чужой жизни. Моему герою, прошу отметить, уже довелось повисеть вверх ногами; назвали его в честь великого поэта, хотя сам он за всю жизнь не сложит и четверостишия.

> ЧУЖАК! НА ЧТО ПОСЯГАЕШЬ! ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ ПРАВА КАСАТЬСЯ ЭТОЙ ТЕМЫ!..

Да, знаю, я в тюрьме не сидел и вряд ли когда сяду.

> ОТЩЕПЕНЕЦ! УЗУРПАТОР! НАМ ТВОЯ ПИСАНИНА НЕ УКАЗ! НАС НЕ ПРОВЕДЕШЬ: ДАЖЕ ТВОЙ ЯДОТОЧИВЫЙ ЯЗЫК И ТО ИНОЗЕМНЫЙ, ЭТО УЖЕ ТВОЯ ПЛОТЬ И КРОВЬ! ЧТО ТЫ, ПЕРЕМЕТНАЯ СУМА, МОЖЕШЬ РАССКАЗАТЬ О НАС? ЛОЖЬ И ТОЛЬКО ЛОЖЬ!

А я спрошу в ответ: неужто история – исключительная собственность ее действующих лиц? В каких судах на нее заявляют права? В каких высоких инстанциях определяют границы застолбленных участков?

Неужто право голоса получают только мертвые?

Себе я говорю, что роман этот – мое прощальное слово о Востоке, от которого годы все больше отдаляют меня. Но подчас мне трудно поверить этим словам, ведь Восток – хочу я или нет – край, к которому я привязан, пусть и некрепко.

Касательно Афганистана: вернувшись в Лондон, я разговаривал на приеме с неким высоким дипломатическим чином, по долгу службы занимавшимся моим «регионом». Он сказал, что «в свете последних афганских событий» Западу ничего не остается, как поддерживать диктатуру президента Зия-уль-Хака. Мне б сдержаться, но я возмутился. А что толку? Жена дипломата, сдержанная, благовоспитанная дама, примирительно воркуя, пыталась меня утихомирить, а потом, уже выходя из-за стола, спросила:

– Скажите, а почему бы пакистанцам не убрать Зия? Ну, вы сами понимаете, как это делается…

Да, дорогой читатель, стыдно бывает не только за людей с Востока!

Рассказ мой не о Пакистане. Или почти не о Пакистане. Есть две страны, вымышленная и реальная, и занимают они одно и то же пространство. Или почти одно и то же. Рассказ

мой, как и сам автор, как и вымышленная им страна, находятся словно бы за углом действительности. И там им и место, по моему разумению. А плохо ли это или хорошо– пусть судят другие. Мне думается, что пишу я все же не только о Пакистане.

Названия своей стране я не придумал. И город К. – вовсе не Квет-та. Но без конца жонглировать вымышленными названиями не хочу: окажись я в большом городе, назову его Карачи. С непременной «Заставой».

Положение Омар Хайама в поэзии своеобычно. В родной Персии он так и не снискал известности; на Западе же стихи его читают в переводах, отличных от оригинала по духу, не говоря уж о содержании. Собственно, я ведь тоже перевезен в иную среду. А общепризнанно, что любой перевод что-то теряет. Но и приобретает, добавлю от себя, памятуя об успехе фитцжеральдовских переводов Хайама.

– Мой несравненный телескоп подарил мне тебя! – так объяснялся Омар-Хайам Шакиль в любви к Фарах Заратуштре. – Это твой образ дал мне силы вырваться из матушкиной тюрьмы.

– Тебе б только подсматривать! – фыркнула его милая. – Насрать мне на твою любовь! Не рано ль эта любовь у тебя в штанах зашевелилась? И чего там у тебя с матушками, меня не колышет! – была его избранница двумя годами старше и стократ похабнее в разговоре. Омар-Хайаму скрепя сердце пришлось это признать.

Кроме имени великого поэта наш герой унаследовал и фамилию матушек. И, как бы подчеркивая, что сын неспроста носит бессмертное имя, сестры свою мрачную домину с лабиринтом коридоров – единственную свою недвижимость – назвали соответственно: Нишапур [3].

Итак, еще один Омар-Хайам, еще один Нишапур. Сколько раз ловил на себе юный Омар испытующий взгляд матушек: что ж ты, поторапливайся, мы ждем твоих стихов. Однако, как я уже говорил, рубай так и не вышли из-под его пера.

Детство у нашего героя выдалось, прямо скажем, бесподобное: ведь всем законам, распространявшимся на затворниц-матерей, безоговорочно подчинялся и мальчик. Двенадцать долгих, определивших его характер лет провел он узником в четырех стенах, в обособленном мирке, который ни материальным, ни духовным не назвать – лишь скопище ветхозаветных теней одного и другого. И в этом затхлом и тесном мирке Омар-Хайаму суждено вдыхать (вместе с запахом нафталина, плесени и запустения) нестойкие ароматы былых замыслов и забытых грез. Матушки очень точно все рассчитали: сначала хлопнули дверью, а потом навечно замкнули ее. И оттого в доме возобладало, как зной, гнетущее энергетическое поле, хотя и щедро удобренное перегноем прошлого, но не сулящее никаких новых всходов. И сызмальства Омар-Хайам лелеял лишь одну мечту – поскорее сбежать из Нишапура.

Томясь в своей темнице, пределы которой терялись во мраке, чувствуя, что задохнется и пропадет, Омар-Хайам тщетно искал выхода. Невдомек ему, что обманчивая кривизна времени и пространства приведет самого настырного и выносливого марафонца – обессилевшего, со стертыми ногами и судорогой сведенными мышцами – опять к стартовой черте. Да, на бесплодной, изъязвленной временем почве особняка-лабиринта пробился новый всход.

Вы, разумеется, слышали о детях, найденных в волчьем логове, выпестованных многочисленными лохматыми кормилицами, что воют по ночам на луну. Спасатели-люди отлучали детей от стаи, и в награду им доставались укусы на руках. Найденышей сажали в клетки, и просвещенному и освобожденному человечеству представали среди вони испражнений и тухлого мяса существа ущербные, не способные постичь и основ культурного бытия. Омар-Хайаму тоже досталось чересчур много кормилиц. И ему довелось четыре тысячи дней провести в непроходимых джунглях родного Нишапура, в этой стихии за

[3] Нишапур – город, в котором родился поэт Омар Хайам (ок. 1040-1123)

четырьмя стенами. Наконец удалось раздвинуть пределы темницы: в его день рождения матушки исполнили его заветное желание, и никакие соблазны, доставленные подъемником мастера Якуба, с ним не сравнить!

– Ты свои дикарские замашки брось! – осадила его Фарах, когда он было дал волю чувствам. – Ишь, руки распустил, ты ж не обезьяна дикая!

Так сказать, с точки зрения биологии она подметила все верно, но как раз омарову-то дикость она и не оценила умом, зато вскоре познала телом.

Вернемся к главному: двенадцать лет Омар ни в чем, кроме свободы, не знал отказа. Рос он баловнем, хитрюгой и плаксой. Стоило ему заорать, и матушки спешили приласкать сынулю. Но вот его начали мучить кошмарные сны, спать он стал меньше, а по ночам, как первопроходец-путешественник, забирался все глубже в дебри бескрайнего царства рухляди и паутины. Поверьте на слово, порой его сандалии утопали в пыли нехоженых коридоров; он натыкался на порушенные давними землетрясениями лестничные пролеты – некогда ступеньки вздыбились острыми горными вершинами и рухнули в черную пропасть, куда и заглянуть страшно…

И в безмолвии ночи, и в предутренних шорохах шел Омар все дальше, в глубь самой истории, разглядывая поистине музейные диковинки Нишапура. Под его пытливыми пальцами распахивались шкафы, открывались комоды, выставляя напоказ допотопные расписные кувшины и горшки в индийском стиле Котдиджи; или вдруг он набредал на кухни и кладовки, о которых раньше и не подозревал, и недоуменно смотрел на блестящую бронзовую утварь тоже бог весть каких времен; а то вдруг ему открывались заброшенные покои (некогда землетрясением там разрушило сточную систему), и мальчик забирался в развороченные колодцы и лазил по хитросплетению каменных желобов (в те доисторические времена еще не знали труб).

А однажды Омар-Хайам даже заблудился. Он исступленно метался по закоулкам – так, наверное, путешественник во времени, лишившись своей чудесной машины, страшится навечно затеряться в пучине истории – и вдруг замер в ужасе на пороге комнаты: сквозь разваленную стену к нему тянулись толстые древесные корни-щупальца, словно умоляя напоить. Было ему в ту пору лет десять, и вот тогда-то в первый раз он увидел белый свет без оков и уз. Стоило только шагнуть в пролом, и… Но столь неожиданное чудо застало его врасплох. Уже занимался рассвет, и Омар-Хайам в страхе повернул вспять, назад в свои покойные покои. Потом, когда страхи унялись и он все хорошенько обдумал, мальчик попытался повторить ночное путешествие, даже запасся мотком веревки… увы, и с помощью этой ариадниной нити не смог он найти в хитроумном лабиринте своего детства обиталище запретного рассветного минотавра.

– Иногда я даже скелеты находил, – клялся он недоверчивой Фарах, – и человечьи, и зверячьи.

Но даже там, где скелетов не было, казалось, пращуры нынешних хозяек неотступно следовали за мальчиком. Нет, они не выли, не гремели цепями, как надлежит настоящим привидениям, а витали вокруг, испуская тлетворный запах копившихся издревле чувств: надежды, страха, любви. Эти призраки подстерегали Омар-Хайама в потайных уголках запущенного дома и полновесной прародительской пятой давили на мальчика. И вот, не выдержав, Омар-Хайам, вскорости после потрясения у разрушенной стены, отомстил своему противоестественному окружению. Отомстил дико, по-варварски – даже рассказывая об этом, хочется крепко зажмуриться. Вооружившись шваброй и похищенным топориком, он вихрем пронесся по грязным коридорам и причудливо убранным спальням, сокрушил на пути стеклянные шкафчики, подернутые пылью забвения диваны; обратил во прах древние, изъеденные червем фолианты; досталось и хрусталю, и картинам, и старинным ржавым шлемам; он нанес смертельные увечья бесценным шелковым, тонким, как бумага, гобеленам.

– Вот вам! Получайте! – вопил он среди бездыханных жертв – немых свидетелей его детства, насладившись бессмысленной жестокостью. – Поделом, старье вонючее! – И вдруг, вопреки всякой логике, уронил смертоносное орудие и столь исполнительную швабру и горько расплакался.

Надо сказать, что в ту пору никто не верил рассказам мальчика о том, что дом – без конца и края.

– Дитя и есть дитя, – усмехалась Хашмат-биби, – чего только не придумает!

Подшучивали над Омаром и слуги:

– Послушать тебя, сынок, на всем белом свете, кроме нашего дома, места ни для чего не хватит!

А три матушки, сидя на любимом диване-качалке, преспокойно выслушивали все рассказы, гладили сына по голове и однажды подвели итог.

– У мальчика богатое воображение, – определила средняя мама Муни.

– Неспроста он такое имя носит, – подхватила мама Бунни.

А мама Чхунни встревожилась, не гуляет ли мальчик по ночам во сне. И приказала слуге спать у порога комнаты Омар-Хайама.

Но к тому времени мальчик сам запретил себе наведываться в дразнящие воображение уголки Нишапура. После жестокой расправы над прошлым (ни дать ни взять, волк, точнее, волчий выкормыш в ов– чарне) Омар-Хайам Шакиль счел за благо появляться только в обжи– тых покоях.

Некое чувство – возможно, пробудившаяся совесть – привело его в дедов кабинет с темными деревянными панелями и множеством книг. Сестры Шакиль не наведывались туда со дня отцовой смерти. Там-то внук и обнаружил, что дедова ученость – миф, равно и его якобы острый, деловой ум. На всех книгах значился экслибрис неко– его полковника Артура Гринфилда, многие страницы так и остались неразрезанными. Когда-то библиотека принадлежала этому господи– ну, и старый Шакиль закупил ее, так сказать, оптом, а потом за дол– гие годы не удосужился открыть ни одной книги. Зато юный Омар-Хайам набросился на них с жадностью.

Пора воздать должное омаровым способностям к самообучению. Когда он покинул стены Нишапура, он уже владел классическим арабским и персидским языками, не считая латыни, французского и немецкого. И все – с помощью лишь словарей да книг лжеученого гордеца деда! Чем только не зачитывался мальчик! Богато иллюстрированными стихами Талиба, многотомными письмами к сыновьям Великих Моголов, бертоновскими переводами «Тысячи и одной ночи», «Путешествиями» Ибн Баттуты, приключениями сказочного Хатема Тайского… Да-да, вот и отходит прочь («Прочь!» – это уже из обращения Фарах к нашему герою) несостоятельный образ дитяти джунглей, Маугли.

Тем временем с помощью подъемника из дома в лавку ростовщика беспрерывно переправлялись самые разнообразные вещи, а за ними открывались новые сокровища, доселе сокрытые в залежах хлама. Огромные комнаты, до потолка набитые всякой всячиной – наследством многочисленных стяжателей-предков,—мало-помалу пустели, так что на одиннадцатом году жизни маленькому Омару уже не мешали резвиться бесчисленные шкафы и комоды. Настал день, и матушки послали слугу в отцовский кабинет – они решили, что отныне смогут обойтись без ширмы каштанового дерева с тончайшей резьбой: на священную круглую гору Каф слетелись тридцать птиц, искавших божественную истину. Когда птичье собрание убралось из дома, взгляду Омар-Хайама предстал маленький книжный шкаф, набитый томами по теории и практике гипноза: санскритские мантры, трактаты персидских мудрецов, книга финского эпоса «Калевала» (в кожаном переплете), опыты преподобного Гаснера по изгнанию духов с помощью гипноза, анализ теории «животного магнетизма» самого Франца Месмера, а также (что, пожалуй, оказалось самым ценным) несколько деше-

вых самоучителей. Мигом проглотил их Омар-Хайам; только эти книги из всей дедовой библиотеки не были когда-то достоянием начитанного полковника, только они – подлинное дедово наследство, и только им суждено на всю жизнь вовлечь Омара в столь загадочную и страшную науку – ведь ей подвластны силы добра и зла.

У домашней прислуги занятий находилось едва ли больше, чем у юного хозяина – с годами матушек все меньше и меньше заботили чистота в доме и вкусная пища. Нетрудно догадаться, что трое слуг оказались первыми и добровольными участниками омаровых опытов. Юный гипнотизер сосредоточивал их внимание на блестящей монетке и подчинял своей воле. У Омара обнаружился талант, чем он немало гордился. Ровно и спокойно приговаривая, он вводил своих подопечных в транс и выслушивал бессознательные, но любопытные исповеди. Слуги, в частности, поведали секреты своей половой жизни. Оказалось, что, в отличие от хозяек, у которых после рождения ребенка угасли некоторые естественные потребности, мужчины не отказались от радостей земных, даря ласки друг другу и благословляя хозяек за то, что, отказав слугам в свободе, те открыли подспудные желания, снедавшие всех троих мужчин. Их взаимная любовь как бы дополняла не менее сильную взаимную (хотя и платоническую) привязанность сестер. И все же в хороводе этих дружб и симпатий Омар не становился мягче и добрее.

Поддалась его уговорам и Хашмат-биби. Ей Омар внушил, что она парит на мягком розовом облаке.

– Ты все глубже погружаешься в облако, – уложив старуху на циновку, мурлыкал гипнотизер, – все глубже, все глубже… тебе хорошо… хочется раствориться в облаке…

Кончились его опыты весьма прискорбно. Не успел мальчик отметить двенадцатый день рождения, как преданные слуги доложили матушкам, сурово поглядывая на молодого хозяина, что Хашмат, похоже, внушила себе: пора расставаться с жизнью. Последние ее слова были: «все глубже и глубже… растворяюсь в розовом облаке…». Очевидно, благодаря стараниям юного медиума, старушке увиделся потусторонний мир, и вмиг ослабла железная хватка Хашмат, перестала она держаться за жизнь (по ее словам – немалую, в сто двадцать лет). Матушкам пришлось подняться со своего дивана и наказать Омар-Хайама: никаких больше гипнотических опытов! Но к тому времени интересы Омара и без того переменились, ознаменовав начало новой жизни. И придется немного повернуть вспять, дабы рассказать о переменах.

В мало-помалу пустеющих комнатах Омар-Хайам нашел кроме книг кое-что еще – телескоп, о котором уже упоминалось. С его помощью мальчик следил за окрестностями с верхнего этажа, где окна, в отличие от нижних, не были наглухо забраны ставнями и заперты на засов. В круглом блестящем окошечке омаровой луноликой радости умещался весь белый свет. Интересно наблюдать бои маленьких воздушных змеев на черных, пропитанных кашицей из риса и битого стекла бечевках, острых как бритва, способных срезать вражеского «змееныша». До мальчика доносились крики победителей – они прилетали в комнату с легким ветерком. А однажды в окно залетел бело-зеленый сбитый змей. А потом – уже близилось омарово двенадцатилетие– луноликий дружок показал Омару Фарах Заратуштру, и не было сил отвести от нее взор. В ту пору ей только минуло четырнадцать, но в каждом ее движении угадывалась хитрая женская суть. Вот тут-то все и переменилось: голос у Омара сорвался и стал с того дня ломаться. Сорвалось что-то и в низу живота – то опустились яички в детскую доселе мошонку. И вся тоска по свободе отозвалась тупой, ноющей болью в паху. Вдруг она разом поднялась, вскипела… и все разрешилось самым обычным и, пожалуй, неизбежным способом.

Ему не хватало свободы. Он метался по дому, точно зверь по клетке. Его любящие и нежные тюремщицы-матушки взрастили в нем убежденность, что он не участвует в жизни, а лишь наблюдает за ней из-за кулис. Двенадцать лет изо дня в день видел он матушек и,

как не грустно признавать, ненавидел их: и за то, что они всегда вместе, и за то, что сидят, взявшись за руки, на любимом скрипучем диване-качалке, за то, что хихикают и щебечут на своем тарабарском языке, придуманном еще в девичестве, за то, что шепчутся, обнявшись, прильнув голова к голове, в разговоре вечно подхватывают слова одна другой.

Ведь это по их непонятному велению Омар-Хайам лишился общения с людьми, стал узником Нишапура. Единение матушек подчеркнуло его собственную обособленность. Среди множества вещей он жил как в пустыне.

Немалые жертвы принесены за двенадцать лет. Поначалу сестрам удавалось сохранить престижные традиции (единственное, что оставил им отец) благодаря положению в обществе, где еще помнили отца, да собственной непомерной гордыне (из-за которой Чхунни, Муни и Бунин даже отвергли Бога). Каждое утро сестры просыпались минута в минуту, тщательно чистили зубы эвкалиптовыми палочками (пятьдесят раз снизу вверх, пятьдесят – сверху вниз и пятьдесят – слева направо и справа налево), обряжались в одинаковые платья, умащивали и причесывали друг дружку, собирали черные вьющиеся волосы в пучок, вплетали белые цветы. Обращались они меж собой и со слугами неизменно с почтением, на «вы». Строгие манеры, неукоснительное Соблюдение заповедей домашнего уклада – все это подчеркивало праведность любого деяния сестер, в частности (правильнее сказать – в первую голову) совершенно неправедного появления на свет Омар-Хайама. Однако и их твердокаменные устои дали трещину.

В тот день, когда Омар-Хайаму суждено было уехать в большой город, старшая из матушек открыла ему тайну, назвав день, с которого покатилась к закату жизнь трех сестер.

– До чего ж нам не хотелось отнимать тебя от груди! – призналась она. – Теперь-то ты знаешь, что кормить грудью шестилетнего мальчика не принято. И когда тебе пошел седьмой годик, мы решили отказаться от величайшего из благ. И после все переменилось, жизнь стала терять смысл.

Прошло еще шесть лет. Груди у матушек завяли, упругость телес и стать пропали, а с ними и почти вся привлекательность. Кожа сделалась дряблой, волосы спутались, угас интерес к разносолам. Слуги совсем отбились от рук. А сестры дружно, так сказать в ногу, двигались к закату, сохраняя по-прежнему полное единообразие.

Учтите, ведь ни одна не получила никакого образования, их обучили разве что светским манерам. А вот их сын к тому времени, когда у него стал ломаться голос, проявил себя вундеркиндом-самоучкой. Пытался он приобщить к свету знаний и матушек; но стоило ему с необычайной ловкостью доказать теорему из евклидовой геометрии или, блистая красноречием, высказаться о притче про пещеру из «Государства» Платона, матушки дружно махали руками, отметая чужеземную мудрость.

– Это английская заумь – и больше ничего! – выносила приговор мама Чхунни, и сестры согласно кивали.

– Неужто кто способен понять этих сумасбродов? – вопрошала средняя матушка Муни, но по тону чувствовалось, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит. – Ведь они даже читают слева направо.

Узколобое чванство матушек еще больше укрепило Омар-Хайама во мнении (пока слабо и невнятно заявлявшем о себе), что он и впрямь на обочине жизни. Все его дарования, которые он пытался раскрыть перед матушками, адресаты отправляли обратно, так сказать в нераспечатанном виде. И сколько бы умных книг он ни прочитал, матушкино неприятие очень мешало, Как терзался он, чувствуя себя во чреве какого-то облака, сквозь которое лишь изредка проглядывает недоступное небо. Не важно, что нашептывал он легковерной старушке Хашмат! Для него самого розовое облако – утеха плохая.

Итак, Омар-Хайам Шакиль вступает в тринадцатый год жизни. Он толст, предмет его мужской (уже!) гордости спрятался в складках так и не обрезанной кожицы. Матушки все

больше и больше утрачивают смысл жизни, сын, наоборот, только начинает его обретать, в нем просыпается самец-завоеватель, особь, ранее чуждая ему, как и любому тихоне-толстуну. Причин тому я вижу три (мимоходом я уже упоминал о них). Первая: явление четырнадцатилетней Фарах в круглом окошке телескопа. Второе: он стал стесняться своего ломающегося голоса – в любую минуту мог пустить петуха, а к горлу подкатывал омерзительный комок и наглухо закупоривал горло. И уж никак не след забывать о третьей причине: об извечных, овеянных славой поколений (а для кого и позором) сложных биохимических преобразованиях в мальчишечьем организме на пороге зрелости. Матушки и не подозревали, как хитро переплелись в их дитяти темные силы, иначе не совершили бы роковой ошибки, не спросили Омар-Хайама, какой подарок он хочет.

– Все равно не подарите, чего ж спрашивать! – ошарашил он их. Матушки дружно ахнули, воздели руки к небу, потом одна заслонила глаза, другая – уши, третья – уста, дабы не видеть, не слышать и не произносить греховного.

Мама Чхунни (не отнимая рук от ушей) воскликнула:

– Как он может так говорить?! Как у него язык поворачивается?! Средняя мама, Муни, подглядывая сквозь прижатые к глазам

пальцы, трагически бросила:

– Не иначе, кто-то обидел нашего ангелочка!

А крошка Бунни все же отняла руки от уст и изрекла совсем-совсем негреховное:

– Говори! Все подарим! Все, что только есть на белом свете! Тут он и рыкнул:

– Выпустите меня из этого страшного дома! – И уже спокойнее вонзил следующую фразу в бездыханно повисшую после его слов тишину:—А еще скажите, как звали отца.

– Подумать только! О чем мальчик говорит! – возопила средненькая Муни, и сестры тут же вовлекли ее в тесный кружок; они встали, обняв друг друга за талию, являя прямотаки непристойнейший образец единства, столь ненавистного мальчику.

Быстрый их шепоток прерывался только вскликами-всхлипами, вроде: «А разве я не предупреждала?!» или «Почему ж мне эту кашу расхлебывать!»

Но перемены, что называется, налицо. Из тесного кружка доносятся споры! Впервые за двенадцать лет сыновняя просьба расколола единые ряды матушек – они спорят! А в споре мнения притираются со скрипом, с трудом. И так непросто вновь обрести незыблемое единение младых лет.

Но вот они выбираются из руин порушенного единства и силятся обмануть и сына, и самих себя – дескать, ничего особенного не произошло. Они-таки пришли к единому мнению, но чего стоило им теперь это уже лицемерное единство! Ведь мальчика не обмануть!

Первой берет слово крошка Бунни:

– Что ж, твои желания справедливы. По крайней мере одно мы выполним!

Мальчик вне себя от счастья, а матушки в ужасе. Омар задыхается, в горле у него клокочет.

– Какоекакоекакое? – шепчет он, не в силах перевести дух. Эстафета переходит к Муни.

– Мы закажем тебе ранец, его доставят на подъемнике, – важно начала она. – Ты пойдешь в школу. Но не очень-то радуйся. Не успеешь из дома выйти, тебе прохода не дадут, начнут обзывать, насмехаться– все равно что ножом колоть, и пребольно. – Муни, самая ярая противница его освобождения, режет словом ровно клинком.

Завершает старшая матушка:

– Смотри, на улице никого не обижай. Мы все равно узнаем, как бы ни скрывал. Отвечать на оскорбления – значит унижаться, поддаваться запретному чувству – стыду!

– То есть терять свое достоинство, – подхватывает средняя матушка.

СТЫД. Написать бы мне это слово на родном, а не на чужом языке, испорченном ложными понятиями и мусором былых эпох, о которых нынешние носители языка вспоминают

без угрызений совести. Но я, увы, вынужден писать на английском и потому без конца уточнять, дополнять и переиначивать написанное.

ШАРАМ – вот нужное мне слово! Разве убогенький СТЫД передаст полностью его значения! Три буквы – шин, ре, мим (написанные, разумеется, справа налево)—да еще черточки-забар для обозначения кратких гласных. Вроде маленькое слово, а значений и оттенков – на целые тома. Не только от стыда отвращали матушки Омар-Хайама, но и от нерешительности, растерянности, застенчивости, самоедства, безысходности и от многих еще чувств, которым в английском языке и названия-то нет. Как бы стремглав и безоглядно ни бежал человек с родины, без багажа (хотя бы ручного) не обойтись. Вот и Омар-Хай-ам (речь идет все-таки о нем): возможно ли, чтобы запрет, наложенный матушками на стыд (то бишь на шарам) еще в детстве, перестал действовать на нашего героя в зрелые годы, много после его бегства из зоны матушкиного влияния?

Невозможно, ответит читатель.

А что суть противоположность стыда? Что останется, если, подходя арифметически, вычесть шарам из нашей жизни? Останется, очевидно, бесстыдство.

Из-за унаследованной гордыни и чересчур уж особенного детства Омар-Хайам Шакиль, дожив до двенадцати лет, так и не познал чувства, на которое матушки наложили суровый запрет.

– Какой он, этот стыд? – недоумевал он, и матушки пускались в объяснения.

– Лицо краснеет, а сердце бьется часто-часто, будто дрожит, – пугала Чхунни.

– Бывает и наоборот, – вставляла средняя матушка.

С каждым годом все отчетливее проступали различия сестер, Они уже спорили по пустякам (и это настораживало), вроде того, чья очередь писать заказ и отправлять его с подъемником, или: пить им полуденный чай в гостиной или в холле у лестницы.

Отпустили они сына в солнечный просторный город, и словно пелена спала у них с глаз. Ведь они отказывали ему в праве жить, набираться опыта. В тот день, когда их детище впервые показалось на людях, трех сестер наконец-то поразили стрелы запретного шарама. Но распри меж матушками кончились лишь тогда, когда Омар во второй раз покинул дом. А окончательно единство восстановилось, когда они решили завести второго ребенка…

Нужно рассказать и еще кое о чем, еще более удивительном. А именно: хотя бунтарское желание Омар-Хайама и порушило единство матушек, но столь долго они прожили вместе, что напрочь потеряли каждая свою суть и, даже обособившись, не обрели вновь своих былых черт и привычек. Все-то у них перемешалось: у младшенькой Бунни у первой появились седые волосы, а в поведении проглянула царственная величавость, что более пристало старшей в семье; старшая, Чхунни, похоже, совсем потерялась и растерялась, породнившись с сомнениями и колебаниями; а Муни вдруг принялась с наигранной злобой язвить и разить всех и вся, что испокон веков считалось привилегией младшего ребенка в семье (увы, младшие дети вырастают, а привилегии сохраняют на всю жизнь). Путаница коснулась не только душ, но и тел, обратив сестер то ли в кентавров, то ли в русалок. И свидетельствовала эта путаница об одном: даже отделившись друг от друга, они по-прежнему составляли одно целое.

Всякий бы сбежал от таких матушек. Много позже Омар-Хайам вспоминал о детстве, как влюбленный – о давно покинувшей его девушке: воспоминания сильны, но былой страсти нет. Так пылкое сердце цепко удерживает память в своем узилище. Только сердце у Омара полнилось не любовью, а ненавистью. И вместо пыла – лед. Его великий тезка питал вдохновение любовью, а наш герой – желчью. Что и говорить, нечем похвастать.

Нетрудно убедиться, что сызмальства в Омар-Хайаме взрастало ярко выраженное женоненавистничество. И все его последующие отношения с женщинами зижделись на стремлении отомстить его недоброй памяти воспитательницам. В защиту Омар-Хайама

скажу: всю жизнь, чем бы ни приходилось ему заниматься, он не забывал о сыновнем долге и исправно оплачивал все расходы матушек. Даже ростовщик Пройдоха перестал наведываться к подъемнику. Это ли не свидетельство омаровой любви, какой-никакой, а любви… Впрочем, пока Омар еще маленький мальчик; подъемник умельца Якуба только доставил новый ранец; вот юный бунтарь надевает его, входит в подъемник, и ранец проделывает обратный путь – на землю.

На двенадцатый день рождения Омар-Хайаму подарили не торт, а свободу. А в ранце и тетради с голубыми линейками, и грифельная доска, и досточка деревянная – на ней можно писать мелом, а потом стирать; несколько заточенных тростниковых палочек – плести хитроумную вязь родной письменности; мелки, карандаши, деревянная линейка, готовальня с транспортиром и циркулем, компас; а еще маленькая алюминиевая коробочка – для препарирования лягушек. Итак, Омар-Хайам покинул матушек, в ранце у него был целый арсенал орудий познания. Матушки помахали ему на прощание как и прежде – все разом!

Не забыть Омар-Хайаму, как, выбравшись из подъемника, ступил он на пыльный «ничейный пустырь», окружавший его детскую обитель, отторгнутую как военным поселением, так и городом. Не забыть ему и кучку зевак, и диковинную гирлянду в руках у одной из женщин.

Когда слуга принес жене лучшего в К. кожевника заказ от трех сестер изготовить школьный ранец (слуга наведывался к подъемнику дважды в месяц, согласно желанию сестер), Зинат Кабули тут же бросилась к дому своей лучшей подруги Фариды, вдовы Якуба-белуджа, жившей с братом Билалом. Все трое более двенадцати лет свято верили, что смерть Якуба-белуджа на глазах у всей улицы прямо связана с сестрами Шакиль, и сейчас дождаться не могли, когда дитя преступной связи затворниц предстанет перед всем честным народом. И вот они пришли к дому сестер Шакиль и принялись терпеливо ждать. Зинат Кабули притащила из лавки целый мешок старых, полусгнивших башмаков, сандалий, чувяк – все равно за них никто и гроша ломаного не даст. Вся эта разномастная обувка, связанная в гирлянду, дожидалась своего часа: нет ничего позорнее, когда человеку надевают этакую башмачную гирлянду.

– Собственными руками наброшу ее мальцу на шею! – клялась подруге Зинат. – Вот увидишь!

Целую неделю пришлось дежурить Фариде, Зинат и Билалу, и, конечно, они привлекли всеобщее внимание. Так что у подъемника Омар-Хайама встретили и другие насмешники: оборвыши-мальчишки, безработные чиновники, прачки, не очень-то спешившие к мосткам на реке. Был там местный почтальон Мухаммад Ибадалла. На лбу

у него красовалась шишка – гатта – от чрезмерного усердия в молитвах. По меньшей мере пять раз на дню расстилал он коврик и отбивал земные поклоны, случалось (по настроению), молился и шестой раз. На работу его пристроил один бородатый змей в человечьем обличье, пустив в ход свои злокозненные чары. Звали змея Дауд, был он мауланой, то есть ученым-богословом, но мнил себя святым и, разъезжая по городу на мотороллере, подаренном сахибами-ангрезами, стращал жителей проклятием божиим. Сейчас он тоже оказался у дома сестер Шакиль. Почтальона Ибадаллу привел сюда праведный гнев: почему это сестры послали письмо директору школы в гарнизонном городке не по почте! Вместо этого гордячки сунули его в конверт (вместе с чаевыми) цветочнице Азре. Ибадалла давно ухаживал за девушкой, но та лишь высмеивала его:

– На что мне жених, у которого весь день задница выше головы!

Разумеется, опрометчивое решение сестер больно задело самолюбие Ибадаллы и подорвало устои учреждения, в котором он служил. А главное, сестры Шакиль еще раз изобличили себя безбожницами, стакнувшись с Азрой, этой бесстыдницей, позволившей изде-

ваться над святой молитвой. Не успел Омар-Хайам выбраться из подъемника, как почтальон зычно выкрикнул:

– Смотрите! Се дьявольское семя!

Однако потом произошел немалый конфуз. Ибадалла, снедаемый злобой на Азру, заговорил первым, чем вызвал неудовольствие своего духовного наставника. (Потеряв при этом святейшее покровительство, Ибадалла потерял и возможность продвинуться по службе и с той поры еще пуще возненавидел сестер Шакиль.) Несомненно, святой старец считал своим исконным правом лично заклеймить пороки, воплощенные в несчастном, до поры созревшем толстуне. И, пытаясь перехватить инициативу, он рухнул перед мальчиком на колени, неистово боднул раз-другой пыльную дорогу и возопил:

– О, Боже! Простри свою карающую десницу! Да поразят твои огненные стрелы это исчадие ада!—Ну и дальше в том же духе. Но столь яркая демонстрация пришлась совсем не по душе троим изначальным дежурным.

– В конце концов, это мой муж поплатился жизнью ради подъемника, – прошипела на ухо подруге Фарида. – Так чего ж старик-то надрывается? Чего вперед меня лезет?

Зато братца Билала удержать никому и ничему не под силу. Он шагнул вперед и заголосил так же пронзительно, как и его легендарный тезка, черный Билал, муэдзин самого Пророка.

– Эй ты, плоть бесчестья! Благодари судьбу, что я тебя не пришиб, не раздавил, как мокрицу!—А позади разноголосое эхо вторило:

…дьявольское семя…

…огненные стрелы…

…жизнью поплатился…

…как мокрицу…

Ибадалла и трое бдевших все ближе подходили к Омару, а тот стоял, окаменев, словно мангуста, завороженная коброй. А вокруг после двенадцатилетней спячки пробуждались слухи и сплетни. Вот Билал не выдержал, рванулся к мальчику и швырнул в него башмачную гирлянду. Как раз перед этим Дауд в семнадцатый раз пал ниц и поднимался, чтобы вознести к небу еще один вопль. Невольно тщедушный старик оказался меж Билалом и Омар-Хайамом. Никто и глазом моргнуть не успел, а злосчастная гирлянда уже висела на совершенно безвинной шее святого.

Омар-Хайам захихикал – такое случается и с перепугу. Мальчишки смеялись вовсю. Даже вдову обуял смех, она как могла сдерживалась, но смех просочился наружу вместе со слезами на глазах.

В ту пору люди не очень-то жаловали слуг божьих. Это теперь им будто бы воздается по заслугам, так нас стараются уверить.

Маулана Дауд поднялся, он готов был в клочья разорвать обидчика. Однако быстро смекнул, что с великаном Билалом ему тягаться бессмысленно, и обратил свой гнев на Омар-Хайама, даже потянулся к нему скрюченными, цепкими, как клешни, руками… Но тут мальчика ждало спасение. Сквозь толпу протолкался мужчина, оказалось, что это учитель, господин Эдуарду Родригеш. Как было уговорено, он приехал за новым учеником. А за его спиной лучилось ясное солнышко омаровой жизни, и наш герой мигом забыл, каких бед он счастливо избежал.

– Познакомься, это Фарах, – представил девочку учитель. – Она на два года старше тебя.

Солнышко глянуло сперва на Омара, потом на старика с гирляндой на шее – он так разгневался, что забыл ее снять, – и, запрокинув голову, захохотало.

– Боже мой! Знаешь, золотце, – обратилась она к Омару (простим ей упоминание имени Всевышнего всуе), – сидел бы ты дома! У нас в городе и без тебя дураков хватает!

Глава третья.
Тает лед

Школа военного городка, манящая прохладой и белизной, точно холодильник, стояла посреди нестерпимо зеленой лужайки. Пышно зеленели и деревья в школьном саду. Сахибы-ангрезы не жалели скудных запасов воды в городке, садовники целыми днями поливали из шлангов газоны и деревья. Напрашивался вывод: случись, засохнут и трава, и бугенвиллея, и тамаринд, и хлебные деревья окрест, странные бледнокожие существа из промозглой северной страны тоже вымрут в одночасье. В школе же взращивались цветы жизни: белые и желтые, и трехлетние малыши, и девятнадцатилетние детины. Но среди ребятишек от восьми лет и старше белых почти не сыскать, а выпускники, все как на подбор, оказывались смуглолицыми. Куда ж девались белокожие детишки? Может, их прибирала Костлявая? Или они пропадали без вести? Или враз кожа у всех темнела от внезапного избытка меланина? Ни то, ни другое, ни третье. Чтобы докопаться до истины, придется провести глубокое исследование: перелистать регистрационные книги пароходных компаний да дневники ветхозаветных старушек в далеком краю, который колонизаторы-англичане неизменно величают родиной-матерью – на самом же деле это родина всевозможных теток, кузин и прочей родни женского пола в глубоком девичестве. К ним очень удобно отсылать своих чад, дабы уберечь от вредоносного восточного воспитания… Однако такое исследование автору не по плечу, ему остается лишь побыстрее отвести взор от докучливых вопросов.

Школа есть школа. Всякий знает ее быт и нравы. Омар-Хайама ожидала участь любого толстуна: над ним насмехались, обстреливали катышками напитанной чернилами промокашки, придумывали прозвища, изредка колотили – в общем, ничего примечательного. Но скоро обнаружилось, что Омар-Хайам ничем не отвечает на колкости относительно своего необычного появления на свет, и ребята поутихли. Лишь иногда на школьном дворе ему перепадал стишок-дразнилка. И такое внимание вполне устраивало Омар-Хайама. Стыд у мальчика так и не проснулся, зато вновь пробудилась тяга к уединению. Исчезая из поля зрения сотоварищей, он радовался, чувствовал себя невидимкой. Оказавшись на обочине школьной жизни, он принялся наблюдать однокашников. И тихо ликовал: на его глазах происходили взлеты и падения кумиров, кто-то из зануд-зубрил проваливался на экзамене.

Но то были зрительские радости. Однажды, стоя в тенистом . уголке школьного двора, он увидел, как за кустами вовсю милуются парень с девушкой из старшего класса. Непонятное довольство теплой волной накатило на нашего героя, и он решил впредь выискивать похожие объекты для наблюдения. Новое занятие целиком поглотило его. Шло время. По вечерам Омар-Хайаму уже разрешалось гулять и вне школьного двора. Мальчик набирался опыта и мастерства в любимом деле: сквозь неплотные бамбуковые шторы следил он, как совокупляются почтальон Ибадалла и вдова ремесленника, тот же Иба-далла – с Зинат Кабули, закадычной подругой вдовы (правда, уже в другом месте). Не удивился он и трагической развязке – ведь для него тайное давно стало явным. Однажды в овраге сошлись почтальон, кожевник да крикливый Билал и до смерти истыкали друг друга ножами. Удивился он другому (да и то по молодости): Зинат и Фари-да, вроде бы заклятые врагини-соперницы, вдруг сошлись и зажили вместе, не ведая до конца дней ни ссор, ни мужской любви.

Раньше Омар-Хайам наблюдал жизнь в телескоп, теперь она предстала крупным планом. Не побоимся назвать нашего героя вуайером, ведь еще Фарах Заратуштра укоряла его за страсть к подглядыванию (тогда речь шла о телескопе). Обличив, таким образом, Омар-Хайама, мы должны признать, что он ни разу не был пойман за столь неблаговидным занятием, не в пример одному удальцу из Агры. Тот, если верить легенде, одолел высоченную стену, чтобы посмотреть, как строят Тадж-Махал, за что и был ослеплен. Зато наш Омар-

Хайам смотрел (то бишь подсматривал) в оба, и взору его явилась неисчерпаемо богатая и замысловатая вязь человеческой жизни. Он познал горькую радость – жить чужими чувствами.

Но подстерегало его и одно разочарование: тайна, оберегаемая матушками двенадцать лет, открылась в школе за двенадцать минут. Ребята рассказали ему и о легендарном пиршестве в доме сестер Ша-киль, и о беззастенчивом поведении сестер, в упор разглядывавших офицеров-усачей, и о том, чем кончился пир… Послушный материнским наказам, Омар-Хайам никогда не затевал драк, даже после столь обидных россказней. На нем почивала благодать высокой морали, и колкости его не задевали. Но с той поры он начал присматриваться к господам-ангрезам, выискивая сходные со своими черты лица, выражение глаз. Вдруг кто выдаст себя случайным взглядом или жестом? И обнаружится доселе неведомый родитель? Но старания Омара оказались тщетны. Может, отец давно умер или уехал и живет себе где-нибудь на берегу моря, и у ног его плещут волны щемящих душу воспоминаний о славных днях, оставшихся далеко за горизонтом. А пальцы теребят реликвии тех лет: охотничий рог слоновой кости, кривой нож, фотографию (охота на тигров с махараджей). Бережно хранит он их на полках своей старческой памяти, вслушиваясь в замирающее эхо былого, будто в шум далекого прибоя, который дарит морская раковина… впрочем, все это домыслы. Отчаявшись опознать отца истинного, мальчик решил выбрать наиболее подходящего для этой роли из, так сказать, имеющихся в наличии. И без колебаний и сомнений отдал пальму первенства господину Эдуарду Родригешу, учителю, недавно обосновавшемуся в К. Несколько лет назад он приехал в городок на автобусе: белоснежный костюм, белая щегольская шляпа, пустая птичья клетка в руке, беззаботная походка.

И еще одно – последнее – отступление: об омаровой страсти подглядывать. Невольно она передалась и всем трем матушкам. К той поре ослабла их железная триединая воля и, не в силах удержаться, они выспрашивали у Омар-Хайама (когда тот, случалось, оставлял мирскую суету), что сейчас носят женщины, о чем толкуют в городе, не вспоминают ли о них. Изредка они прятали лица в шаль, видно, мало-помалу возвращалось то запретное, давно отринутое чувство, так мешавшее их затворничеству. Итак, матушки подглядывали

за жизнью не ахти какими надежными сыновними глазами – ведь о многом он, естественно, умалчивал. А результат такого опосредованного вуайерства очевиден и неизбежен: моральная сила матушек стала слабеть. Не с той ли поры начали они помышлять о «повторении пройденного»?

Господин Эдуарду Родригеш походил на карандаш из своей огромной коллекции – тонкий, востроликий. Никто не знал, сколько ему лет. При разном освещении лицо менялось: то он походил на шустроглазого мальчишку, то на изрядно пожившего горемыку, с головой окунувшегося в прошлое. Какие обстоятельства вынудили его приехать с юга, оставалось загадкой. Прямо с автобусной станции эта таинственная личность проследовала в гарнизонную школу и выговорила-таки себе место! В тот же день!

– Чтобы нести слово Господне, нужна незаурядность, – вот и все, что он счел необходимым рассказать о себе.

Он снял самую бедную комнату у самого бедного сахиба-ангреза, повесил на стену распятие, наклеил яркие картинки из календарей: морской пляж, пальмы, немыслимо багровый закат, католический собор в стиле барокко, увитый плющом, одномачтовые парусники-дхау в океанской бухзсе. Из учеников лишь Омар-Хайаму и Фарах Зара-туштре позволялось переступать порог учительского святилища. Никаких иных пожитков в комнате ребята сначала не обнаружили. Видимо, Эдуарду надежно спрятал прошлое, дабы оно не поблекло от нещадного солнца пустыни. Пустынность же комнаты прямо-таки слепила Омар-Хайама. И, лишь придя к учителю в третий раз, заметил он на сиротливом посудном ящике дешевую птичью

клетку. Позолота давно облупилась; как привез учитель клетку пустой, так пустой она и осталась.

– Он что, приехал сюда птиц ловить?—глумливо прошептала Фарах. – Вот глупый!

И Эдуарду и Омар всяк по-своему были в городе чужаками, потому и сошлись – рыбак рыбака видит издалека. Были и другие силы, сближавшие обоих, их суть самым подобающим образом выразит цитата из первой главы: оба они «увязались за Фарах».

Не укрылось от городской молвы и то, что Родригеш – в белой шляпе и с пустой клеткой в руке – объявился в К. через два месяца после того, как туда был прислан некий таможенный чиновник За-ратуштра (без жены, зато с восьмилетней дочкой). Досужие погонщики, ремесленники и моторизованные святые быстро смекнули, что прежде Заратуштра работал как раз там, где росли кокосовые пальмы и плющ увивал стены собора – оттуда-то и прибыл человек в белой шляпе и с португальским именем. И в городе принялись судачить.

– А где жена таможенника?

– Развелся он с ней? Домой, к ее матери отослал? Убил в порыве ревности?

– Взгляните на Фарах! Ни капли на отца не похожа!

Правда, тем же злым языкам пришлось согласиться, что и на учителя девочка не очень-то смахивала. А вскоре к неудовольствию кумушек тема эта и вовсе захирела. Оказалось, что Родригеш и Заратуштра в прекрасных отношениях.

Почему ж таможенника послали работать к черту на кулички?

У Фарах нашелся простой ответ:

– Отец у меня – мечтатель. Сон и явь у него перемешались. Он спит и видит эту дурацкую землю предков, хотя мы там никогда и не были, а здесь, на иранской границе, к ней все-таки ближе. Не поверите, отец сам попросил о переводе сюда.

Слух – что подземный ручеек, бежит незаметно, пока не вырвется наружу, дай только время. Вскорости добропорядочные горожане получили постыднейшее и умопомрачительнейшее объяснение всем домыслам:

– Да ведь Эдуарду и Фарах – любовники!

– Господи! Взрослый мужчина с дитем связался!

– Невероятно! Невероятно! Несколько лет назад такой же случай был. Видно, все христиане – прелюбодеи. Ишь, на край света за девчонкой поперся! Одному Богу известно, чем она его завлекла. Женщина всегда сумеет намекнуть, нравится ей мужчина или нет. Это – в крови, и возраст тут ни при чем.

Ни Эдуарду, ни Фарах не дали и малейшего повода для страшных подозрений. Верно, он долго не женился, ждал, пока вырастет и созреет Фарах. Но также верно, что Фарах прозвали «льдиной»: своей невероятной холодностью она студила пыл многочисленных поклонников, пал ее жертвой и Эдуарду Родригеш.

– Ну конечно, они ловко притворяются! На людях и виду не подают! – не унимались злые языки. То-то ликовали они, когда дальнейшие события подтвердили их правоту.

А Омар-Хайам, сколь ни любил он подсматривать и подслушивать, оставался глух ко всем сплетням – любовь глуха. Но слухи все-таки отравили ему кровь, занозили сердце. В конце концов, сам он оказался причастен к исключительно христианскому греху – прелюбодеянию, в котором закоснел учитель Родригеш. И это несмотря на то, что будущая законная половина Омар-Хайама – Суфия Зинобия – появится в романе еще не скоро.

Впрочем, не слишком ли долго пробыл я в обществе сплетен и слухов? Не пора ли вернуться к действительности: вот Эдуарду Родригеш в сопровождении Фарах и городской молвы приезжает за Омар-Хайамом, положив начало его школьной жизни и еще раз доказав, что и поныне семейство Шакиль весьма уважаемо в городе. Вскорости новый ученик проявил поразительные способности, и Эдуарду предложил трем матушкам свои услуги в качестве репетитора, дабы развить задатки мальчика. И в этой связи попрошу отметить: первое

– матушки согласились; второе – до той поры Эдуарду занимался лишь с Фарах, причем не брал с ее отца платы, обратив свой дар на бескорыстное служение людям; третье – с течением лет неразлучная троица (Омар, Эдуарду и Фарах) примелькалась в городке.

У Родригеша была способность выделять в речи важные слова, он будто прописывал их с заглавной буквы. Так вот он и «прописал» Омару карьеру на медицинском поприще.

– Чтобы Преуспеть в жизни, – разглагольствовал он, – нужно найти Стоящее дело! А какое дело стоящее? То, что дороже Стоит! И дело это – врачевать людей! Значит, консультировать, ставить диагноз, прописывать лекарства. Учись на врача. У тебя к этому способности. Я Вижу.

А увидел Эдуарду в Омаре иное (как мне кажется): его суть стороннего наблюдателя. Ибо что такое врач, как не узаконенный ву-айер? Посторонний человек. Но ему мы позволяем щупать такие места, какие другим и тронуть не дадим. Ему мы позволяем глазеть на то, что обычно прячем. Ему позволяем присутствовать при сокровеннейших событиях: при рождении и смерти. Вроде бы и незаметен и безымянен врач, и в то же время – на самом виду, на переднем плане, особенно когда нам лихо. Да, учителю Эдуарду не отказать в дальновидности, с Омар-Хайамом он не дал промашки. Впрочем, Омар-Хайам и не помышлял ослушаться учителя—сам выбрал его в отцы. Так вот и строится наша жизнь.

А еще помогают ее строить потрепанные книги, обнаруженные дома, и еще—первые чувства, которые так долго приходится таить… В шестнадцать лет Омар-Хайама поглотил водоворот чувств. К радости примешивалась робость – Фарах Заратуштра (она же– Огнепок-лонница, она же Конец Света) вдруг пригласила его вместе поехать к отцу на границу.

«…и вот он уже себя не помнит, хотя стоит на твердой земле».

Кое-что из того, что случилось на границе, мы уже знаем: опустилось облако, и Омар-Хайам, памятуя о ночных кошмарах, вообразил, что оказался на самом краю света и вот-вот свалится в бездонную пропасть. Возможно, обморок и подсказал ему дальнейшие действия в тот день.

Но сперва – о главном. Как прозвучало приглашение Фарах? Грубо, заносчиво, почти наплевательски (дескать, не поедешь – плакать не стану). Зачем тогда она вообще пригласила его? По наущению Эдуарду:

– Будь подобрее к этому мальчику. Видишь, как ему одиноко. Вы оба способные. Вам и держаться вместе.

Омар, правда, превосходил в способностях свою ненаглядную и, несмотря на разницу в два года, быстро догнал ее, и учился уже в одном с ней классе. Быстро ли Омар согласился? Быстро – не то слово. Мгновенно!

Жила Фарах в семье местного механика (тоже из огнепоклонников). Отец специально свел с ними знакомство, чтобы было куда определить дочку. Сам механик, некий Джамшид, был личностью до того непримечательной, что и описывать его не стоит. Он-то и отвез в назначенный выходной детишек на границу, воспользовавшись машиной, которую ему дали в ремонт. Чем ближе к границе, тем радостнее Фарах и печальнее – Омар…

…Чем дальше, тем сильнее поднимался у него в душе страх перед краем света. В открытом джипе Омар сидел позади Фарах, ее черные волосы развевались по ветру, точно черное пламя перед глазами. Ей было весело катить по дороге, вилявшей меж гор, по перевалу, откуда за машиной следили невидимые глазу недоверчивые кочевники-горцы. Фарах обрадовалась, что на границе пустынно, хотя на словах насмехалась над отцом за то, что тот забрался в глухомань. Потом запела, обнаружив очень приятный голосок.

Что произошло на границе, известно: опустилось облако, с Омаром случился обморок, на лицо ему побрызгали водой, он пришел в себя – «а где это я?». Облако уплыло, и Омар-Хайам увидел, что граница – место весьма непримечательное: нет неприступных преград, нет полиции, колючей проволоки, слепящих прожекторов, красно-белых шлагбаумов,

Ничего, кроме череды бетонных тумб, одна от другой – метрах в тридцати, в сухой, бесплодной земле. Маленькая будка таможенника, железнодорожная ветка – рельсы побурели от ржавчины, – одинокий товарный вагон под стать рельсам.

– Поезда сюда больше не ходят, из-за международной обстановки,—: объяснила Фарах.

А благоденствие таможенника зависит от перевозок. Он вправе (и небезосновательно) конфисковать товар. Торговцы, догадываясь об «основаниях», идут на уступки, и, глядишь, вся семья таможенника в обновах. Да разве бросишь в него камень? Всякий знает, как мало платят бедняге. Итак, честная обоюдовыгодная договоренность.

Но теперь редко досматривают товары в кирпичном домике господина Заратуштры, средоточии его власти. Кочевники снуют через границу туда и обратно, прячась за валуны да бетонные тумбы в ночную пору. И кто знает, что они везут? Вот она, трагедия таможенника. Фарах как способной ученице платят стипендию, но и при этом отцу ох как нелегко дать дочке приличное образование. Он утешает себя:

дескать, не сегодня-завтра вновь откроют железную дорогу. Но и его надежду, похоже, тронула ржавчина. Персия – земля предков, земля великого Заратуштры: она совсем рядом, по ту сторону бетонных глыбин – этим тоже старается утешить себя таможенник, но в последнее время взгляд у него потух.

А Фарах хлопает в ладоши, бегает меж бесчисленных тумб.

– Здорово!—кричит она. – Местечко что надо!

Омар-Хайам, чтобы не омрачать подружкиного веселья, соглашается – местечко что надо! Отец лишь пожимает плечами и удаляется с водителем джипа в домик, предупредив ребят, чтоб не перегрелись. Но, очевидно, они-таки перегрелись, иначе откуда бы у Омара взялась смелость признаться в любви. «Я смотрел на тебя в телескоп…» – и далее по тексту. Не стоит приводить его полностью, равно в грубый ответ Фарах.

– Почему, ну почему тебе не нужна моя любовь? – вопрошает отвергнутый. – Потому что я толстый, да?

– Ладно бы толстый, – отвечает его пассия. – Есть в тебе что-то противное.

– Противное?

– Да, только не спрашивай, что да где. Я и сама не знаю. Просто чую. Может, в характере, может, еще в чем.

И до вечера они не обмолвились ни словом, хотя Омар тенью следует за Фарах. К тумбам бечевкой там и сям привязаны зеркальные осколки, и Фарах, видя свое пусть и неполное отражение, загадочно улыбается. Омар-Хайаму ясно, что его ненаглядная уж очень себялюбива и горда, и обычным ухаживанием ничего не добиться. Фарах пуще всего нравится собственное отражение, никто другой ей не нужен. И в предвечерний час, то ли перегревшись на солнце, то ли ошалев от обморока, он вдруг спрашивает:

– А тебя когда-нибудь гипнотизировали?

И впервые за их знакомство Фарах Заратуштра дарит Омара заинтересованным взглядом.

Потом у нее начал расти живот. Потом ее вызвал разгневанный директор и выгнал из школы – ведь Фарах принесла бесчестье и позор. Потом ее выставил и отец, он вдруг решил, что таможенная каморка тесна для дочери с явно незаконным товаром. Потом свою железную, неукротимую волю явил Эдуарду Родригеш и, как ни брыкалась и ни противилась Фарах, повел ее к гарнизонному священнику и сочетался с ней (помимо ее воли) браком. Потом его уволили – ведь он перед всем белым светом признал свою причастность к делу постыдному, несовместимому с занимаемой должностью. Потом Фарах и Эдуарду наняли извозчика и отбыли на станцию, почти не обременив себя багажом (правда, пустую клетку Эдуарду все-таки захватил, хотя в конечном счете, так злословила молва, поймал не одну

птичку, а две). Потом страсти улеглись, после непродолжительной, но яркой драмы, разыгравшейся на улицах городка.

И тщетно пытался Омар-Хайам оправдать себя, ведь всякий гипнотизер, прежде чем начать действовать, многократно повторяет слова сколь обязательные, столь и необходимые: «Ты исполнишь все, что я велю, но я не попрошу ничего противного твоей совести».

Значит, она хотела того же, что и я, рассуждал Омар, так в чем же моя вина? А раз хотела, то знала, к чему это может привести.

Он почти что утешил себя. Он почти что поверил, будто и впрямь учитель Эдуарду – отец ребенка (а почему бы и не поверить?!). Ведь если женщина позволяет все одному мужчине, она может позволить и другому. И все же его душевному покою мешал какой-то бесенок. То за завтраком вдруг схватит Омара трясучка, то ночью бросит в жар, а днем – в озноб, прямо на улице или в подъемнике вдругбрызнут из глаз беспричинные слезы – точно бес, затаившийся внут-ри, внезапно принимался играть то одним, то другим омаровым органом– от горла до прямой кишки: мальчик то задыхался от удушья, то часами без толку просиживал на горшке. Это из-за беса по утрам руки и ноги наливались свинцом и не было сил подняться; это из-за беса подгибались колени и пересыхало в горле. И не бесовство ли привело подростка в дешевые винные лавки? Нетвердо шагая к дому, где поджидали разъяренные матушки, Омар-Хайам делился с товарищами по несчастью:

– Мне эта любовь помогла лучше понять матушек. От этой са– мой любви они прятались всю жизнь. И правильно делали, верно? – с последними словами его вытошнило, и вместе с желтой жижей он выблевал и свой стыд, а потом закончил речь, дожидаясь подъемника, меж тем как его собутыльники уже похрапывали прямо в придорожной пыли. – Вот и я так хочу. Подальше от всякой любви убежать.

Однажды вечером Омар-Хайам (уже восемнадцатилетний юноша, похожий на арбуз) пришел домой и объявил Чхунни, Муни и Бунни, что получил место и стипендию в лучшем медицинском колледже в Карачи. Сестры, чтобы скрыть горечь скорой разлуки, принялись суетливо отгораживаться от нее, выстроив баррикаду из самых ценных вещей, картин, украшений – они собрали их по всем необозримым комнатам. Наконец около их любимого дивана-качалки выросла целая пирамида.

– Стипендия – это замечательно, – изрекла младшая матушка. – Но и мы в состоянии кое-что дать нашему мальчику, раз он вступает в самостоятельную жизнь.

– Ишь, что еще за стипендию твои доктора придумали! – возмутилась Чхунни. – Будто нам нечем за твое образование заплатить! Пусть катятся подальше со своей милостыней! У твоих родных денег хватит!

– Честных денег! – подхватила Муни.

Так и не убедил Омар матушек, что зачисление в колледж со стипендией – большая честь и неразумно отказываться. Так и отправился он на станцию, набив карманы банкнотами от ростовщика. На шее у него висела гирлянда из ста одного цветка. Аромат только что сорванных цветов напрочь отбивает стародавнее, с тухлинкой, воспоминание о башмачной гирлянде, лишь чудом не оказавшейся на его собственной шее. Одурманенный цветочным ароматом, он забыл рассказать матушкам последнюю новость: таможенник Заратуштра совсем свихнулся у себя в пустыне – воистину пустыня, раз и поживиться нечем. Он взял за привычку залезать нагишом на тумбу, не замечая зеркальных осколков, в кровь ранивших ноги. Сиротливо воздев руки к солнцу, он заклинал светило спуститься на землю и опалить ее очищающим пламенем. Эту новость принесли на городской базар кочевники. По их мнению, так горячо и истово взывал он ко светилу, что, похоже, добьется своего – пора готовиться к концу света.

Последним, с кем разговаривал Омар-Хайам, покидая обитель стыда, оказался некий Чанд Мохаммад, позже он вспоминал:

– Когда я с этим толстяком заговорил, жара его еще не мучила, зато после разговора он прямо дымился.

Чанд Мохаммад был продавцом льда. Он подбежал к Омару в ту минуту, когда тот, все еще во власти бесовского наваждения (не отпускавшего со дня поездки на границу), втаскивал свое тучное тело в спальный вагон.

– Жаркий сегодня день, сахиб, – обратился к нему Чанд. – Без льда не обойдетесь.

Тяжело дыша, толстяк мрачно бросил:

– Проваливай! Может, найдешь дурака, который купит твою мороженую воду!

Но Чанд не сдавался.

– Сахиб, днем жаркий ветер подует. Не окажется у вас льда, чтоб ноги остудить. Кости расплавятся, и мозг вытечет.

Доводы убедительные, поэтому Омар-Хайам купил узкую жестяную ванночку в метр длиной, в треть метра глубиной с увесистой льдиной, присыпанной опилками и песком, дабы продлить ее короткий век. Продавец, пыхтя, втащил жестянку в вагон и шутливо заметил:

– В жизни всегда так: одна льдина в город возвращается, другая прочь едет.

Омар-Хайам расстегнул сандалии и поставил ноги в желоб – благодатная прохлада враз разлилась по телу. Настроение поднялось, он щедрой рукой отсчитал Чанду Мохаммаду деньги и с ленцой обронил:

– Что за чушь ты мелешь! Как льдина может в город возвратиться и не растаять? Ты, небось, про такой желоб с талой водой хотел сказать?

– Да нет, светлейший сахиб, – улыбнулся продавец, пряча деньги. – Это такая льдина – повсюду ездит, да не тает.

Румянец вмиг схлынул с пухлых щек. Толстые ноги вскинулись и замерли на полу. Омар-Хайам опасливо огляделся, будто предмет его страхов мог вот-вот оказаться рядом, и заговорил вдруг с такой злобой, что торговец в ужасе отшатнулся.

– Значит, приехала? И когда же? И ты смеешь издеваться? – Омар-Хайам ухватил несчастного за ветхую рубашку, и бедолаге ничего не оставалось, как рассказать все, что он знал. На этом же самом поезде несколько часов назад приехала в город госпожа Фарах Родригеш (в девичестве – Заратуштра). «Стыда у нее нет! Вернулась туда, где была опозорена! И сразу же к отцу на границу отправилась, а ведь он ее когда-то на улицу вышвырнул, как мусор на помойку! Представляете, сахиб!»

Вернулась Фарах и без мужа, и без дитя. Никто об их судьбе так и не узнал. Вспоминали, как Эдуарду пожертвовал всем ради ребенка, безнаказанно строили самые невероятные предположения: у Фарах случился выкидыш; она, вопреки воле мужа-католика, сделала аборт; младенца извели, оставив под палящим солнцем на раскаленном камне; задушили в колыбели; сдали в сиротский приют; наконец, оставили в подворотне. А молодоженов молва препровождала то на открыточные пляжи с пальмами, где они неистово предавались страсти, то в увитый плющом католический храм, где Фарах и Эдуарду занимались тем же прямо в проходе меж скамьями. Потом страсть иссякла, и Фарах дала мужу отставку. Или Эдуарду, устав от похотливых притязаний Фарах, сам дал отставку ей. Или они оба одновременно дали отставку друг другу. Впрочем, так ли важно, кто первый? Самое главное (как пугала молва), развратница снова в городе, так-что, люди добрые, держите сыновей под замком.

Гордячка Фарах и словом никого из горожан не удостоила, разве что лавочников, когда ходила за покупками. Лишь на склоне лет, зачастив в нелегальные винные погребки, она вспомнила об Омар-Хайаме, да и то потому, что его имя попало в газеты. Когда ей изредка все же приходилось появляться на базаре, она ни на кого не смотрела, лишь останавливалась перед всяким случайным зеркалом и с нескрываемой любовью созерцала свое отражение. Значит, совесть ее не мучила, рассудила молва. Не изменилось к ней отношение горожан и когда выяснилось, что она приехала ухаживать за спятившим отцом, да исполнять его

работу, чтоб его не выгнали с таможни сахибы-анг-резы. Мало ли, чем эта парочка занимается: полоумный отец, щеголяющий нагишом, да дочь-шлюха. Самое место им в пустыне, чтоб люди их и не видели. Там лишь Бог да Дьявол им свидетели – их ничем не удивишь.

А Омар-Хайам, погрузив ноги в ванночку с тающим льдом, ехал навстречу своему будущему. Ему казалось, что сейчас он окончательно вырвался на волю. От приятной мысли захолонуло сердце, лед холодил ноги – тоже приятно. На губах Омар-Хайама заиграла улыбка, знойный ветер его не страшил.

Прошло два года, и он получил от матушек известие, что у него родился брат. Нарекли его Бабуром, в честь Великого Могола, который дошагал до Немыслимых гор, покоряя все и вся на пути. После этого в Нишапуре на долгие годы вновь воцарились счастье и единство. Трех сестер вновь сплотили материнские заботы, и вновь они стали неразличимы.

А Омар-Хайам, прочитав письмо, восхищенно присвистнул и высказался:

– Ишь, старые перечницы! И как их только угораздило!

Книга 2.
Дуэлянты

Глава четвертая.
По другую сторону экрана

Этот рассказ имеет прямое отношение к Суфие Зинобии (старшей дочери генерала Резы Хайдара и его супруги Билькис); к событиям, связавшим ее отца с Искандером Хараппой (некогда премьер-министром, а ныне – покойником); к неожиданному ее браку с неким полнотелым врачом Омар-Хайамом Шакилем, одно время близко дружившим с уже упоминавшимся Иски Хараппой (чья шея обладала удивительным свойством: на ней никогда не оставалось ни синяков, ни царапин, не осталось даже следов висельной петли). Впрочем, точнее сказать, Суфия Зинобия имеет прямое отношение к этому рассказу (хотя и такое определение может увести от точности).

Чтобы подступиться к познанию человека, нужно знать о его (в данном случае – ее) семье. Этим путем я и последую. Начну с того, что объясню, почему с некоторых пор Билькис начала бояться знойного послеполуденного ветра.

Утром последнего в своей жизни дня ее отец – Махмуд Кемаль по прозвищу Баба, одетый, как всегда, в переливчатый голубой, с красной искоркой, костюм, одобрительно осмотрел себя в вычурно изукрашенном зеркале, которое сам же и перетащил из фойе собственного кинотеатра – уж очень понравилась резная рама, с которой голенькие купидончики целили стрелы и дули в рожки. Махмуд обнял восемнадцатилетнюю дочь и сказал:

– Видишь, девочка моя, как шикарно одевается папа. Только так и подобает истинному властелину нашей славной Империи.

За столом Билькис принялась было наполнять отцову тарелку, но тот, притворно разгневавшись, пророкотал:

– Что за лакейские замашки! Дочерям императора не пристало подавать за столом!

Билькис прелестно потупилась, хотя краешком глаза наблюдала за отцом.

– Браво, Биллу! Ей-богу, отменно сыграно!

Невероятно, но, увы, очевидно: человек вроде Махмуда, верующий в Аллаха (то есть в Бога), подчас правил целым городом идолопоклонников, то есть безбожников, а местом действия можно избрать и любой индийский город, хоть Дели. И по сей день в городе полным-полно немых свидетелей великих владык: древние обсерватории, башни, воздвигнутые в честь давних побед, и, конечно, краснокаменная крепость Альгамбра (именуемая еще Красным фортом). Ей предстоит сыграть важную роль в рассказе. А еще удивительно, что многие высокие правители – из самых низких сословий. Впрочем, каждый школьник помнит, как и рабам доводилось быть императорами… однако империя, о которой сейчас идет речь, куда скромнее, и разговоры о владычестве—лишь семейная шутка. Оно простиралось у Махмуда лишь на кинотеатр «Империя» – убогий клоповник в старом городском квартале.

Махмуд не без гордости говаривал:

– Хороший кинотеатр всегда распознаешь по тому, как публика себя ведет. Вот, скажем, шикарный зал в новом районе: бархатные сиденья – ровно троны, в фойе зеркал – не счесть. Кондиционеры кругом. И публика там тише воды, ниже травы. И понятно. В такой-то роскоши они даже за свои (причем немалые) деньги и чихнуть боятся. То ли дело в Империи Махмуда: орут, свистят, топают. Тихо только когда с экрана модные песенки поют. И не забывай, дочка, мы – монархи не абсолютные. Случись, например, заартачатся полицейские

и не станут выдворять даже самых отъявленных хулиганов? А ведь так свистят, что уши закладывает. Впрочем, что толку об этом говорить. Всяк по-своему эту свободу личности понимает.

Итак, Империя – самая что ни на есть заштатная. Но не для Махмуда. В ней – вся его жизнь. К своему владычеству он пришел из самых низов. Не поброди он (в самом начале карьеры) по смердящим кварталам с киноафишами на тележке, выкрикивая: «Смотрите на экранах!» и «Билеты на исходе!», не сидел бы он сейчас в директорском кабинете по соседству с кассой, позвякивая связкой ключей. Но и к их семейной шутке, увы, следует отнестись всерьез: и у отца, и у дочери в характере таилась некая прямолинейность, чувства юмора явно недоставало, оттого и росла Билькис, в грезах видя себя принцессой. Отблески этих грез не гасли и в уголках потупленных глаз.

– Будь я владычицей, все стало бы по-другому, – признавалась она простодушному лику в зеркальце после того, как отец уходил на работу. – Уж я бы порядок навела! Живо бы всех свистунов да крикунов утихомирила! Была б только моя воля!

Итак, в мыслях Билькис ставила себя рангом выше своего батюшки-императора. Вечер за вечером проводила она в кромешной тьме его Империи, внимательно приглядываясь к блистательным невзаправдашним принцессам, покорявшим шумливую публику танцами. А с потолка на них взирал написанный золотом средневековый рыцарь на коне, с вымпелом в руках. На вымпеле было начертано бессмысленное для Билькис слово «Эксельсьор». Одни грезы порождали другие, и девочка даже держаться начала с подобающим принцессе величием и надменностью, а насмешки уличных сорванцов, играющих в придорожных канавах, почитала за комплименты.

– Дорогу! Дорогу! – кричали, завидев гордо проплывающую мимо Билькис, мальчишки. – Эй, Ваше Величество, удостойте нас хоть взглядом! О, несравненная Кханси-ки-Рани!

Да, ее прозвали Кханси-ки-Рани, то есть Повелительница Ветров (причем самой разной природы), насылающая чих, кашель и болезни.

– Не обольщайся, – предостерегал отец, – сейчас все переменилось– смутные времена. И самое ласковое прозвище против тебя обернется.

Как раз в ту пору и произошел печально известный раздел страны (на тебе, Боже, что нам негоже), и неверные с радостью передали Аллаху клочок древней, побитой молью веков, земли – пустыни да топи в джунглях. Новая страна являла собой два ломтя суши, разделенных тысячью миль чужеземья. И это – одна страна! Невероятно! Однако умерим свой пыл и обратимся к страстям местных жителей, а страсти эти разгорелись не на шутку. Даже простой поход в кино представлял собой политическую акцию. Мусульмане – верующие в Бога единого, и индусы—поклонники божеств каменных, ходили в разные кинотеатры. Любители кино разделились гораздо раньше, чем их измученная древняя земля. Излишне говорить, что кинопроизводство находилось в руках язычников-индусов, они, как известно, вегетарианцы, они же сняли и самый нашумевший «вегетарианский» фильм. Небось, слышали? Занятная выдумка: скрывающийся под маской герой-одиночка скитается по берегам Ганга, избавляя коровьи стада от поработителя-человека, спасает священных парнокопытных от бойни. Идолопоклонники-индусы штурмовали кинотеатры. Истые мусульмане ответили тем, что с жадностью набросились на менее постные западные боевики, там коров забивали направо и налево и дюжие молодцы с удовольствием уплетали отбивные. Попеременно толпы распаленных кинофанатов совершали набеги на кинотеатры недругов– что ж, всяк по-своему с ума сходил в то время.

Махмуд же лишился своей Империи из-за одной-единственной оплошности, точнее, из-за неискоренимого недостатка в характере – желания всем угодить.

– Пора подняться выше всяких идиотских разногласий, – однажды утром объявил он своему отражению в зеркале и тем же днем заказал афишу двойной программы: на экране его кинотеатра один за другим пойдут самый модный боевик и нашумевший «вегетарианский» фильм. То есть Махмуд решил потрафить вкусам обеих сторон.

Начало показа ознаменовало конец его карьеры и во многом переменило смысл прозвища. Бабой Махмуда прозвали сорванцы-мальчишки: ведь он овдовел, когда дочке едва сровнялось два года, и ему пришлось заменить девочке мать. Теперь же прежде безобидное прозвище зазвучало пугающе унизительно: «размазня», «недотепа», «глупец».

– Что за постыдное слово! – сокрушенно вздыхал Махмуд, обращаясь к дочери за сочувствием. – Баба! Сколько самых тяжких оскорблений оно вмещает! Как бездонная помойка – такого слова более не сыскать!

А участь новой программы оказалась вот какой: и вегетарианцы, и мясоеды стали обходить Империю стороной. С неделю фильмы шли при пустом зале. Лишь облупленные стены, неторопливые вентиляторы под потолком да автоматы, торгующие сладостями, созерцали ряды привычно скрипучих кресел, которые столь же привычно пустовали, будь то сеанс в три тридцать, в шесть тридцать или в девять тридцать.

Даже в воскресное утро дверь-вертушка не сумела заманить ни единого зрителя.

– Да брось ты! Чего ради все затеял?! Или к рекламной тележке захотелось вернуться? – возмущалась Билькис.

Но Махмудом вдруг овладело несвойственное ему упрямство, ион заявил, что оставит эту программу и на вторую неделю! Скандал! От него ушли даже мальчишки, развозившие афиши. Кому охота рвать глотку, расхваливая столь сомнительный товар, или зазывать: «Имеются билеты! Спешите приобрести!»

Махмуд с дочерью жил в жалкой пристройке прямо за кинотеатром. «По другую сторону экрана», – шутил он.

В тот день, когда померк белый свет, а потом занялся вновь, дочь императора, оставшись в доме лишь со слугой, вдруг прозрела: ясно

и отчетливо увиделось ей, что отец, движимый прихотливой логикой романтичной души, добровольно обрек себя на гибель, упорствуя в безумных замыслах. Комок подкатил к горлу Билькис, в ушах застучало, забило – точно ангел захлопал крыльями (более разумного объяснения она и потом не смогла придумать) – голову заломило. Стремглав выбежала она на улицу, задержавшись лишь на миг – набросить дупату, легкую зеленую накидку, без нее скромной девушке не пристало появляться на улице. Запыхавшись, она подбежала ко входу в кинотеатр, остановилась подле тяжелых дверей; за ними в пустом зале томился ее отец, смотрел фильм. Вот в эту-то минуту и опалил Билькис огненный вихрь светопреставления.

Стены отцовской Империи вдруг расперло, раздался звук – точно кашлянул огромный великан, – дохнуло таким жаром, что враз спалило девушке брови (впоследствии они так и не отросли), легкую накидку рвануло вихрем, и Билькис осталась на улице в чем мать родила. Но девушка даже не заметила этого, ведь на глазах у нее рушился мир, смертоносный вихрь унес с собой странный чуждый звук – то разорвалась бомба. А в воздухе перед опаленными глазами Билькис мелькали кресла, билетные книжки, опахала, останки отца – в угли и головни обращалось будущее.

– Ты себя убил! – что есть мочи, перекрывая отголоски взрыва, с укором крикнула Билькис– Упрямился! Вот и получил!

Она повернулась и бросилась было домой, но тут заметила, что задняя стена кинотеатра обвалилась и на верхнем этаже ее жилища обосновался золотой рыцарь с вымпелом, на котором такое знакомое, такое смешное и непонятное слово – «Эксцельсиор».

Не спрашивайте, плодом чьих трудов явился этот взрыв. Такие плоды злобы взращивались в ту пору многими, садовников смерти было предостаточно. Возможно, бомбу под-

ложил какой-нибудь фанатичный единоверец Махмуда, верный слуга Аллаха – неспроста взрыв произошел во время самой пылкой любовной сцены, а известно, как мусульмане относятся к любви, особенно к ее киноподобию, поскольку за право созерцать нужно платить. Как тут не возмутиться, как не вырезать все амурные сцены – любовь развращает!

Бедняжка Билькис! Нагая, с опаленными бровями, стояла она под сенью золотого рыцаря, все еще во власти огненного видения. Увиделось ей и собственное детство, оно ангелом отлетело прочь, а шум крыльев все еще отдавался у нее в ушах эхом взрыва.

Те, кто расстаются со своим гнездом, расстаются и со своим прошлым. Правда, кое-кто норовит увезти его с собой, в тюках ли, в ящиках ли. Но от долгого пути и времени драгоценные реликвии и фотографии увядают и блекнут, да так, что потом владельцам их и не признать. Такова судьба изгоев – с них сорван покров истории, и стоят они нагими средь самодовольных чужеземцев в великолепном облачении, в парче веков минувших, брови их не опалены, а горделиво выгнуты – людям этим не грозит одиночество.

Веду я вот к чему: прошлое Билькис оставило ее прежде, чем она оставила город. Долго стояла она на обочине, нагая в своем сиротстве, и провожала взглядом отлетавшее детство. Много лет спустя оно раз-другой напомнит о себе, заглянет в гости, как полузабытый родственник. Но побороть неприязнь к прошлому Билькис так и не удалось. Она выйдет замуж за героя с блестящим будущим, и как ей было не отмахнуться от своей былой жизни? Так отмахиваются от докучливого бедного родственника, попросившего взаймы.

Наверное, потом она куда-то пошла или побежала, но вдруг случилось чудо и ее подхватила дивная сила, рожденная разрушительным вихрем.

Придя в себя, она обнаружила, что стоит, прижавшись к красной каменной стене. Уже опускалась ночь, но зной не спадал, лишь камень приятно холодил спину. Мимо проносились толпы людей, точнее, одна огромная толпа.

Людей было так много, и неслись они столь стремительно, что Билькис подумала: а может, и их несет смерч какого-то невообразимо страшного удара. Может, еще одна бомба! И людей этих разметало взрывом! Но то была не бомба.

Билькис наконец сообразила, что стоит подле красной крепостной стены, окружавшей старый город. Ворота распахнуты настежь. Солдаты загоняют в них людское стадо. Сами собой ноги тронулись с места, и толпа поглотила девушку. И сразу ее ударила мысль: «Я же голая!» Она закричала: «Дайте что-нибудь! Мне только прикрыться!» Никто ее не слушал, никто даже не взглянул на опаленное, но все же прекрасное девичье тело. Стыдясь, она обхватила себя руками, и ее, точно соломинку, понесло по людскому морю. На шее она нащупала клочок тонкой кисейной накидки, к телу – там, где кровоточили ссадины и ранки (Билькис их даже не замечала), – тоже прилипли обрывки кисеи. Прикрыв срамные места почерневшими от крови лоскутами, девушка ступила на крепостной двор, окруженный унылыми бурыми стенами. За ней заскрежетали, закрываясь, ворота.

Накануне раздела страны в Дели власти задерживали мусульман и – как объяснялось – для их же безопасности запирали в Красном форте, дабы укрыть от безжалостных идолопоклонников-индусов. Сгонялись все от мала до велика, целыми семьями: древние бабки, дети; греховодники-дядья. Не миновала Красного форта и моя семья. Нетрудно представить, как, затянутые в круговерть Истории, мои родные могли приметить на параллельной орбите, то бишь в круговерти моих вымышленных героев, Билькис Кемаль, нагую, в ссадинах и кровоподтеках– привидением она пронеслась мимо. А может, и наоборот: бесплотными духами пролетели мои родные перед взором моей героини.

Людской поток принес ее в просторный квадратный изукрашенный павильон с низким потолком – там некогда император принимал народ. В этом представительном зале, где каждому звуку вторило многоголосое эхо, Билькис не выдержала унижения и позора и упала в обморок. Среди ее сверстниц немало тихих скромных женщин, которым судьба вроде бы

ничего и не уготовила (лишь выйти замуж, нарожать, вырастить детей да умереть), однако о той поре они рассказывали самые удивительные истории, под стать приключениям Билькис. Да, много занятного рассказывали о тех временах люди, благополучно их пережившие.

Сама Билькис накануне возмутившей всех и вся свадьбы своей младшей дочери – Благовесточки – поведала ей, как сама познакомилась со своим будущим мужем:

– Очнулась я уже днем, смотрю, укрыта офицерской шинелью. И чья б, ты думала, эта шинель? Ну, конечно же, твоего будущего отца, Резы. Он, как ты понимаешь, увидел, что я валяюсь без чувств, выставив все прелести напоказ, видать, они ему понравились, нашему доблестному воину.

Юная Благовесточка лишь ахнула да зацокала языком, притворно дивясь занозистому матушкиному острословию, а та скромно добавила:

– В ту пору такие встречи были не редкость. И верная дочка подхватила:

– Ничего удивительного нет, что он в тебя сразу влюбился. Сам же Реза в тот памятный день вытянулся перед Билькис по

стойке «смирно», щелкнул каблуками, отдал честь и обратился к надежно укрытой его шинелью девушке:

– До свадьбы невесте все же пристало появляться одетой, лишь после свадьбы мужу выпадает честь раздевать супругу… Но у нас, видно, все наоборот. Сначала я одену тебя с головы до ног, как надлежит скромнице-невесте. (При этих словах Благовесточка, предвкушая собственное скорое замужество, томно вздохнула: «И это его первые слова! Господи, как красиво!»)

А вот каким предстал Реза в глазах облаченной в его шинель Билькис:

– Высоченный! Кожа – ровно мрамор белый! Осанка горделивая, ни дать ни взять – царь!

Правда, «царь» в ту пору носил лишь капитанский чин. Но согласитесь, даже по такому описанию Реза Хайдар внушает доверие.

С полной достоверностью о нем можно сказать еще следующее: он обладал невероятной энергией, подсоедини к нему динамо-машину —можно осветить целую улицу; его всегда отличали безукоризненные манеры; даже став президентом, он не утратил удивительной скромности в общении (что, впрочем, не указывает на отсутствие гордости); редко кто поминал его недобрым словом, а если и поминал, то прескверно себя чувствовал потом – будто предал друга; на лбу у Резы едва заметная шишка, такую мы уже видели на боголюбивом челе почтальона Ибадаллы, гатта свидетельствовала о том, что Реза – человек набожный.

И последняя подробность. О капитане Хайдаре говорили, что все время, пока мусульмане находились в пределах крепости – четыреста двадцать часов, – он не спал, оттого у него и черные крути под глазами. Но росла власть Хайдара, росли и черные крути. Дошло до того, что они стали походить на черные очки, что носили прочие высокие чины. С этими окружьями он не расставался, в отличие от очков, даже по ночам. Вот таков будущий генерал Реза Хайдар, он же Резак, он же Резвун, он же Резец-молодец – и все в одном лице. Могла ли Билькис устоять? Она и глазом моргнуть не успела, как ее сердцем завладел капитан.

Пока она находилась в крепости, воздыхатель с черными кругами навещал ее ежедневно и всякий раз приносил что-нибудь из одежды или украшений: блузки, сари, сандалии, сурьмяные карандаши (чтоб нарисовать брови взамен спаленных), бюстгальтеры, губную помаду. Он буквально осыпал ее подарками. Как известно, массированный обстрел ускоряет капитуляцию противника… гардероб Билькис пополнился, и она уже встречала жениха не в офицерской шинели, а в новых нарядах.

– Представляешь, – делилась она с дочерью, – только тогда он позволил себе напомнить шутку насчет раздевания и одевания.

Но не его слова хотела повторить дочери Билькис, а похвастать своим удачным ответом: скромно потупясь, явив высоты лицедейства, за что некогда ее хвалил отец, она печально проговорила:

– Ах, о каком муже может помышлять бесприданница вроде меня? Уж, конечно, не о благородном капитане, который одевает незнакомых девушек, как принцесс.

Помолвлены Реза и Билькис были под неусыпным и ревнивым взором толпы. Подарки от жениха не прекращались: сладости и браслеты, напитки и хна, обильные яства и перстни. Реза поместил невесту за резную каменную перегородку, приставил юного пехотинца – охранять владения Билькис. Докучливый людской гомон теперь почти не досаждал, в мыслях уже рисовалась будущая свадьба, а постыдные обстоятельства знакомства с Резой она забыла. Над ней вновь довлело прежнее, сызмальства взлелеянное чувство собственного величия.

– Ах, как не стыдно! – укоряла она смотревших волком соседей-беженцев, – зависть – это ужасный порок.

В каменную вязь перегородки летели в ответ недобрые слова.

– А откуда, по-твоему, он берет все эти роскошные платья? Думаешь, у рукоделов-умельцев покупает? Взгляни лучше на берег да посчитай, сколько разутых-раздетых утопленников каждую ночь река выносит!

Страшные, злобные слова стрелами пронзали узорчатую перегородку: «продажная шкура», «подстилка», «шлюха».

Билькис держалась стойко, убеждая себя:

«Неприлично спрашивать капитана, где он покупает все подарки. До такой мелочности я не опущусь ни за что!»

Вслух она, однако, не произнесла этих слов, равно оставила без ответа издевки товарищей по несчастью. Отповедь им так и не слетела с ее губ, она лишь презрительно фыркнула.

И я ей не судья. В те времена каждый старался выжить как мог.

Как и все прочее, разделили и армию. Капитан Хайдар отправился на запад в древний, побитый молью веков край, отданный Аллаху. С ним на военном самолете летела и его молодая жена (капитан отдал дань и обряду, и закону). Расставшись с девичеством, новобрачная буквально на крыльях летела навстречу новой, ослепительно счастливой жизни.

– Ой, милый, что тебя ждет! – восторженно выкрикивала она. – Ты будешь самый главный, правда ведь? Непременно прославишься!

Уши у Резы покраснели под развеселыми взглядами спутников по трясучей и скрипучей «дакоте», хотя вид капитана выражал довольство. Надо же, слова Билькис оказались пророческими! Разглядела-таки она в капитане ту могучую каменную твердь, на которой выстроит она новую жизнь, ибо прежнюю развеяло в прах. Кануло в небытие ее прошлое, остался лишь мрачный призрак былых царственных замашек, но призрак столь могущественный, что до сих пор вторгался в действительность. У Билькис не осталось ни кола ни двора. Хватит с нее взрывов и потрясений, хочется незыблемого и постоянного. Реза и казался ей незыблемым утесом: столь велика и неизменна была его вера в себя.

– Ты настоящий гигант! —льстиво шептала ему на ухо жена, дабы избежать ухмылок спутников-офицеров. – Ты неотразим, как кинозвезда!

А вот как лучше описать Билькис? Тут я, признаться, в затруднении. То ли сказать о ней так: случайность раздела ее донага, закономерность– одела с головы до ног; то ли представить ее Золушкой, нашедшей принца. Однако, обретя счастье в одном, она лишилась его в другом, что доступно любой нищенке, – она оказалась неспособной родить сына. А может, выделить в ее судьбе то, что отец ее прозывался Бабой, что долгожданный сын уродился девочкой, что наимужест-веннейшему Резаку, Резцу-молодцу, в конце концов, тоже придется скрываться под унизительной темной чадрой. А может, подчеркнуть, что над Билькис довлел

злой рок: неспроста ее новорожденного сына удавила петлей собственная пуповина, и не менее ужасная петля еще грядет в ее жизни.

Все же, думается, лучше вернуться к ее первоначальному описанию. Ибо для меня Билькис была, есть и будет вовек Напуганная Ветром.

Справедливости ради скажу: никто не любит полуденного суховея– от него захватывает дух. На окна вешают мокрые тряпки, закрывают ставни, стараются на это время забыться сном. С годами ветер этот все больше будил в Билькис непонятные страхи. И муж, и дети отмечали, как пополудни она делалась раздражительной, брюзгливой, захлопывала одни двери, запирала другие. Наконец, глава семьи не выдержал: мыслимо ли всякий раз, когда приспичит пойти в туалет, испрашивать у жены ключ. А ключей у нее на тонком запястье висело превеликое множество. Так и носила она повсюду эти бряцавшие вериги своей больной души. Она стала пугаться любой перестановки в доме, запретила менять местами даже самую безобидную домашнюю утварь. Так навеки утвердились на своих местах стулья, пепельницы, горшки с цветами – и все волею пугливой хозяйки.

– Мой Реза любит, чтоб во всем порядок был, – говаривала она, хотя «порядок» этот утвердила сама.

Бывало, ее приходилось держать в четырех стенах, как в узилище, и случись кому из чужих увидеть ее в эти минуты – стыда не оберешься. Когда налетал ветер, Билькис принималась завывать и пронзительно кричать – ни дать ни взять злой дух. Она орала слугам, чтоб те покрепче держали шкафы и столы, не ровен час поднимет их в воздух и унесет, как некогда разметало по сторонам пропащую Империю. А дочерям (если те оказывались дома) кричала, чтоб держались за что-нибудь тяжелое, а то и их увлечет в поднебесье огненный вихрь.

Да, недобрым был тот полуденный суховей.

Надумай я писать реалистический роман о Пакистане, и словом бы не обмолвился ни о Билькис, ни о ветре – я бы рассказал о своей младшей сестре. Ей двадцать два года, учится она в Карачи на инженера, непоседа и – в отличие от меня – гражданка Пакистана. Когда я в духе, сестренка и впрямь видится мне пакистанкой, и сама страна мне мила, и я готов простить ее (как сестры, так и страны) пристрастие к кока-коле и заграничным машинам.

Не первый год знаком я с Пакистаном, но никогда не жил там долее полугода, а случалось, что и на две недели только приезжал. Меж долгими и краткими поездками интервалы самые разные. И изучал я страну, так сказать, слой за слоем (по временным срезам) так же, как и сестренку. Впервые я увидел ее новорожденной (я—в ту пору четырнадцатилетний подросток – наклонился над колыбелью, и малышка отчаянно запищала), потом трех, четырех, шести, семи, десяти лет. Позднее я видел ее уже девушкой: в четырнадцать, восемнадцать и двадцать один год. Таким образом, мне пришлось знакомиться и познавать девятерых сестер. И каждая последующая была мне все ближе, все дороже. Равно это относится и к стране.

Все мои самокопания ведут вот к чему: хоть и пишу я эту книгу бог знает о каких краях, все равно мне никуда не деться – как в осколках зеркала, мне видится иная страна (так же, наверное, виделась себе и Фарах в блестящих осколках, натыканных в приграничную тумбу). А то, что осколки разрозненны – с этим уж ничего не поделать.

И все ж таки если бы я задумал реалистический роман, вы и не представляете, о чем бы я написал! О том, как состоятельные обитатели «Заставы» совершенно незаконно, подпольно, а точнее – подземно, установили насосы, проложили трубы и поворовывают воду из соседских каналов. И теперь совсем нетрудно на глаз определить, кто богаче и влиятельнее: у кого сочнее и зеленее лужайки (думается, выводы мои справедливы и за пределами провинциального городка К.). Рассказал бы я и о мусульманском клубе в Карачи, там и по сей день красуется табличка «Женщинам и собакам вход воспрещен». Или взялся бы раскрыть хитроумную логику промышленного развития: страна создает собственные атомные

реакторы, а выпускать собственные холодильники ей не под силу. Помянул бы я и школьные учебники. «Англия не относится к числу развитых аграрных стран», – утверждается в одном. И стоило моей сестренке на контрольной работе поменять два слова в этом каноне, как учитель на два балла снизил ей оценку.

Не покажется ли тебе, дорогой читатель, такой «реалистический» роман химерой? Однако действительность настойчиво просится на страницы романа. И красноречивых примеров хоть отбавляй.

Недавно в Национальном собрании депутаты забросали стульями председателя, и тот скончался. Или: просматривая фильм «Ночь генералов», цензор придрался к картинам в галерее, которую посещает один из героев – Питер О'Тул, – и безжалостно вымарал красным все картины с обнаженными женщинами. И недоуменные зрители смотрели, как Питер О'Тул расхаживает по галерее, а по стенам прыгают красные кляксы. Еще: один высокий чин с телевидения совершенно серьезно убеждал меня, что произносить и писать слово «свинья» нельзя как непристойное. Далее: то ли в «Тайме», то ли в «Ньюсуике» опубликовали статью о том, что у президента Айюб Хана в швейцарском банке якобы открыт счет. Этот номер журнала в стране так и не увидели. Много пишут о бандитах с большой дороги, осуждая каждый частный случай, но почему бы тогда не осудить самого главного бандита – государство, ведь у него грабеж возведен в ранг политики. Да, примеров хоть отбавляй. Зверски истребляют людей в Белуджистане; целевые стипендии для учебы за рубежом достаются экстремистам из партии «Джамаат»; сари чуть не всенародно объявляется неприличной одеждой. Нескольких человек впервые за последние двадцать лет приговорили к повешению, и все для того, чтобы оправдать казнь Зульфикара Али Бхутто. А его палач исчез, сквозь землю провалился, как мальчишка-беспризорник, – этих похищают средь бела дня. Еще одно любопытное явление – антисемитизм. Люди, в глаза не видевшие евреев, поносят их из солидарности с арабским миром. А арабы в ответ радушно принимают пакистанскую рабочую силу, подкармливают страну столь необходимой валютой. Примеры нескончаемы: это и контрабанда наркотиков, и рвущиеся к диктату вояки, и продажные гражданские власти. Это и лихоимцы-чиновники, и пристрастные судьи, и газеты, о которых одно можно сказать наверное: все на их страницах ложь! Это и национальный бюджет, из которого щедро оделяется оборона и заметно скромнее – образование. Вот и представьте, каково мне!

Напиши я что-либо подобное и – конец! Объясняй я, не объясняй, что книга вовсе не о Пакистане, а «вообще», ее бы запретили, выбросили бы на свалку, сожгли бы! И все мои труды пошли бы прахом. Нет, не выдержит писательское сердце такого «реализма». Но к счастью, я пишу что-то вроде сказки на современный лад, поэтому и беспокоиться не о чем. Никого-то она не обидит, никого-то не подвигнет на раздумья. Поэтому и изничтожать ее нет надобности. Прямо гора с плеч!

Впрочем, хватит распространяться о том, о чем я писать не намерен. Всяк волен выбирать сюжет, всяк сам себе цензор. Ведь, выбрав одно, невольно отказываешься от другого…

Однако пора вернуться в нашу сказку. Пока я разглагольствовал, события в ней развивались. На обратном пути я непременно натолкнусь на моего придорожно-обочинного героя, на Омар-Хайама Шакиля. Он терпеливо ждет на обочине рассказа, когда же появится его будущая невеста, разнесчастная Суфия Зинобия, вылезет головкой вперед из материнского чрева. Что ж, осталось недолго ждать. Суфия Зинобия, как говорится, уже на подходе.

Последнее (но уместное) отступление: в супружестве Омар-Хайаму пришлось смиренно сносить почти детскую прихоть жены – то и дело переставлять мебель. Запретный плод сладок. Натерпевшись в детстве от Напуганной Ветром матери, она теперь дала себе волю и, оставаясь одна, беспрестранно переставляла столы, стулья, торшеры, словно предавалась какой-то тайной игре, но относилась к ней с пугающе непреклонной серьезностью. Порой Омар-Хайам едва сдерживался, чтоб не взроптать, но толку от его слов было бы мало.

«Не чуди, женушка! – хотелось воскликнуть ему. – Одному Богу известно, что переменится от всех твоих перестановок».

Глава пятая. Фальшивое чудо

Точно в пещере лежит Билькис в темной спальне с низкими потолками. Руки у нее по привычке прикрывают грудь. Сна ни в одном глазу. Она словно боится что-то потерять, потому и прижимает руки к телу. И делает это непроизвольно. Мужниной родне такая привычка не по душе.

Во тьме смутно различимы и другие постели – старые топчаны под жидкими матрацами. Прикрывшись лишь простынями, на них лежат женщины. В комнате их почти сорок, в середине смачно похрапывает щупленькая, но всемогущая глава женской половины дома – Бариамма. Билькис в этой спальне не первый день и знает наверное, что многие из тех, кто ворочается сейчас под белеющими во тьме простынями, бодрствуют, как и она. Даже Бариамма, возможно, похрапывает лишь из притворства. Женщины ждут мужчин!

Но вот гулко стукает дверное кольцо, и вмиг ночь преображается. Ветерком впархивает греховная истома, словно вошедший крутанул большие опахала под потолком и разметал приторно-слащавые ароматы летней ночи. И еще сильнее заворочались сорок женщин под влажными от пота простынями. Следом входит еще один мужчина, потом еще и еще. Они на цыпочках крадутся по проходам – магистралям спальни. Женщины замирают, лишь Бариамма храпит пуще прежнего, точно подает сигнал: «Отбой! Я крепко сплю! Вперед!» – дабы воодушевить мужчин.

Соседка Билькис – Рани Хумаюн – незамужняя, и ждать ей сегодня некого. В темноте она шепчет:

– Вот и заявились сорок разбойников!

Ночь теперь наполнена шорохами и шепотками. Скрипят топчаны под дополнительным грузом, шуршат сбрасываемые одежды, стонут и всхрапывают от страсти мужья, овладевая женами. И вот уже ночь обретает единый ритм, он нарастает, ослабевает, замирает. Все. И вот уже множество ног топочет к выходу. Раз-другой гулко ударит дверное кольцо, и все стихает. И ко времени: тактичная Бариамма уже перестала храпеть.

Рани, двоюродная сестра Резы Хайдара, коротко сошлась с его молодой женой. Ей, как и Билькис, восемнадцать лет. Недолго Рани осталось жить на женской половине дома, вскорости судьба подарит ей завидного жениха – белолицего, за границей образованного юного миллионера Искандера Хараппу. Билькис притворно ужасается словам подружки о ночной жизни спальни, сама же рада-радешенька послушать.

– Разве в такой темнотище разберешь, чей муж к тебе лезет? – вопрошала как-то, перетирая пряности, Рани и прыскала со смеху.—Да если и чужой, разве кто откажется? Я тебе, Биллу, так скажу: в этом доме женам да мужьям ох как привольно живется! Не разберешь, кто с кем. Дядья —с племянницами, братья женами меняются. И не узнать, от кого ребенок!

Билькис —сама застенчивость – покраснела, приложила к губам Рани пахнущую кориандром ладошку.

– Перестань! О таком и думать-то грех! Но Рани не удержать:

– Нет уж, дослушай! Ты здесь без году неделя, а я всю жизнь прожила, и, клянусь волосами Бариаммы, хоть по виду здесь все прилично, на деле – это ширма, за которой страх какой разврат творится!

Билькис по скромности не возразила подруге, дескать, крошечная старушонка Бариамма не только слепа и беззуба – на ее старой головенке не осталось ни волоска. Родоначальница носит парик!

Так куда ж мы попали? И в какой век?

В большое родовое гнездо в старом квартале города, который как ни крути, а придется назвать – Карачи. Реза Хайдар, как и его суженая, рано осиротел. Бариамма – мать его матери, то есть его бабушка, приняла под свой радетельный кров супругу капитана, едва «дакота» приземлилась на западном краю страны.

– Пока все не утрясется, побудешь здесь, – наказал Хайдар жене. – А там посмотрим, что да как.

Сам капитан временно разместился на военной базе, оставив Билькис среди притворно храпящих родственниц в уверенности, что ни один мужчина не посягнет на нее ночью.

Как видите, рассказ мой привел в дебри другого особняка (вы небось уже сравниваете его с далеким Нишапуром в приграничном городке К.). Однако до чего ж эти особняки не схожи! Дом в Карачи открыт всем ветрам, его стены едва-едва вмещают бесчисленную родню, близкую и дальнюю.

Прежде чем оставить Билькис в бабушкином доме, Реза предупредил:

– Там у них живут по-старинному, по-деревенски.

Что, очевидно, предполагало: даже законное супружество не освобождает женщину от стыда и позора за то, что она спит с мужчиной. Потому-то, не долго думая, Бариамма и решила воскресить сказку о сорока разбойниках. И все старухины подопечные в один голос утверждали, что «ничего такого» в спальне не происходит, а если случится кому забеременеть, так это чудо. Из чего следовало, что все зачатия в доме – непорочные, и рождение младенцев никак не нарушало девства матери. Дух чистоты и непорочности в этих стенах напрочь забил смрадную мерзкую похоть.

Билькис, все еще мнившая себя принцессой, думала (к счастью, не вслух):

«Господи! Куда я попала! В край дремучих, невежественных деревенских олухов».

Вслух же сказала мужу:

– Старые традиции надо чтить.

На что супруг согласно кивнул, а Билькис вконец загрустила. Ибо в империи Бариаммы «новенькая» Билькис (самая молодая в когорте жен), разумеется, не получала никаких королевских почестей.

– У нас непременно должны родиться сыновья, – заявил Реза жене. – В маминой семье мальчишек – что грибов в лесу.

А Билькис меж тем и впрямь блуждала по лесу бесчисленных родственников во владениях бабушки Бариаммы, терялась в чащобе генеалогических зарослей, схематично начертанных, как и подобает, на задней странице семейного Корана. Выяснилось, что у Бариаммы было две сестры (обе вдовые) и три брата: один умный да богатый, другой – мот и шалопут, а третий и вовсе дурачок. И все отпрыски столь здорового и сексуально полноценного семейства были мальчики. Исключение – лишь мать Резы да Рани Хумаюн, которая дождаться не могла, когда же наконец покинет она дом, собравший под своим кровом всех мужчин – представителей и продолжателей рода. Они приводили жен, и те оставались, жили все скопом, рожали – ни дать ни взять человеческий инкубатор. По материнской линии у Резы было одиннадцать дядьев законнорожденных и почти столько же незаконнорожденных (в основном отпрыски бабушкиного брата-шалопута). Что касается двоюродных братьев – сестра Рани не в счет, – то их набралось тридцать два, и это только рожденных во браке! Даже примерное количество внебрачных отпрысков его дядьев в Коране не указывалось. Немалая часть этого огромного семейства обосновалась под крылом слабой телом, но сильной духом Бариаммы. Двое ее братьев – убогий да беспутный – жили холостяками, а когда третий (умный да богатый) привел в дом жену, она утвердилась на одной из постелей в женской половине дома, подле Бариаммы. Супруги здравствуют и поныне, но к ним добавилось то ли восемь, то ли одиннадцать вполне законнорожденных племянников (то бишь, дядьев Резы)

и чуть ли не тридцать их сыновей – Билькис прямо со счета сбилась. Да еще Рани Хумаюн в придачу.

А в спальню – это гнездилище порока – набилось еще двадцать шесть жен. Итого, вместе с Билькис и тремя старухами их набралось ровно сорок.

Голова у Билькис шла кругом. Разве упомнишь, как называть жену дяди или супругу внучатого племянника. Общими и привычными «дядюшка» да «тетушка» не отделаешься. Всякий родственник назывался по-своему, и непривычная к родовому укладу жизни, к ее иерархии, Билькис то и дело выказывала оскорбительное для окружающих неведение. Потому и приходилось перед лицом законных отпрысков рода чаще помалкивать. Разговаривала она либо сама с собой, либо с Рани, либо с Резой. И у окружающих сложилось о ней троякое мне– ние: одним она казалась милой, наивной девочкой, другим – безволь– ной «тряпкой», третьим – и вовсе дурой. В отличие от остальных мужей, часто отлучавшийся Реза не баловал ее ежедневно покровительством и лаской, оттого она снискала еще репутацию горемыки. Да вдобавок и бровей нет – как не пожалеть?! Как искусно их ни нарисуй– гуще не станут. Работы по дому ей доставалось чуть больше, чем другим, и острый язычок Бариаммы жалил ее чаще. Перепадало ей и зависти, и восхищенного удивления – от товарок. Резу в семье высоко чтили и считали добрым мужем – ведь он не бил жену. Столь странное представление о доброте коробило Билькис – раньше ей бы и в голову не пришло, что кто-то ее хоть пальцем тронет. Рани просветила подругу:

– Бьют, да еще как! Аж искры из глаз сыплются! Хотя со стороны посмотреть, так даже сердце радуется. Но надо, чтоб меру знали, а то хороший мужик может на нет сойти – покипел-покипел, да и выкипел весь.

Будучи на положении Золушки, Билькис должна была каждый вечер проводить у ног слепой, дряхлой Бариаммы и выслушивать нескончаемые семейные были и небылицы. То были душераздирающие рассказы о распавшихся семьях, о разорении, о суховеях, о неверных друзьях, о смерти младенцев, о болезнях груди, о мужчинах, погибших во цвете лет, о рухнувших надеждах, ушедшей красоте, о слоноподобных толстухах, о контрабанде, о поэтах-наркоманах, о девах, умерщвляющих свою плоть, о проклятьях, о тифе, о разбойниках, о гомосексуалистах, о бесплодии, о холодности в ласках, о насилии,

о подскочивших ценах на еду, об азартных игроках, пьяницах, самоубийцах и о Боге.

О семейных страстях Бариамма рассказывала столь бесстрастно, что все они казались далекими и не пугали – их пропитал бальзам старухиного неизбывного благоприличия. Жуткие рассказы лишь подтверждали жизнеспособность семьи; ее честь несомненна, ее моральные устои неколебимы.

– Тебя приняли в семью, – наставляла старуха, – значит, ты должна знать все о нас, а мы – все о тебе. Рассказывай без утайки.

И однажды вечером в присутствии безмолвного мужа Билькис эассказала, как окончил жизнь Махмуд, как сама она оказалась на улицах Дели в чем мать родила.

– Не беда, – утешила ее Бариамма, когда Билькис, корчась от стыда, вела рассказ. – Ты сохранила дупату, значит, сохранила честь.

Потом Билькис не раз слышала, как пересказывали ее злоключе-гая домочадцы: то в закоулках пышущего зноем двора, то в звездную ночь на крыше дома, то в детской – попугать малышей. И даже в будуаре Рани, в самый день ее свадьбы, когда невеста была уже богато убрана, причесана и по обычаю намазана хной.

Такие рассказы лучше всякого клея скрепляют родственные узы, крепкими сетями держат и старых и малых в плену нашептываемых тайн. Поначалу жизнь Билькис менялась в пересказах, но наконец суды-пересуды кончились, и утвердился вариант, более не подлежащий никаким «доработкам». Впредь и рассказчик и слушатель сочли бы любое отступление от канона едва ли не святотатством.

Тогда-то и поняла Билькис, что посвящение в члены семьи состоялось.

Раз ее жизнеописание принято, значит, она приобщена к клану, к родству духовному и кровному.

– Такие рассказы для нас – что клятва на крови, – подтвердил Реза.

Знали б молодожены, что их «рассказ» по сути еще и не написан, что потом он станет лакомым кусочком для гурманов – любителей наисмачнейших и наипикантнейших историй. И вступление к этому рассказу тоже станет едва ли не ритуальным (как полагали в семье, оно задавало нужную ноту).

Рассказчик обращался к слушателям:

– Помните тот день, когда единственный сын нашего президента явился на свет во втором воплощении?

– Вроде что-то припоминаем, – радостно подхватывали те. – Но расскажите-ка все по порядку, с самого начала. Это так занятно!

В ту знойную пору два только что народившихся и прихотливо разделенных государства затеяли войну на границе Кашмира. Что может быть лучше войны в прохладном краю, когда вокруг пышет жаром! Направляясь к манящим прохладой горам, офицеры, пехота, походные повара не могли нарадоваться.

– Вот уж повезло, так повезло!

– Если и сдохнешь, как сукин сын, так хоть не от жары!—добродушно перекликались солдаты. Вот что значат благоприятные метеорологические условия – они сближают людей! Бравое воинство отправлялось в поход с беспечностью, точно впереди ждал распрекрасный отдых. Конечно, войны без жертв не бывает. Но ее мудрые устроители позаботились и о павших – первым классом отправили прямехонько в благоуханные райские кущи. Там к ним навечно прикомандированы четыре .красавицы гурии, недоступные ни человеку, ни духу. «Станешь ли ты противиться воле Создателя?»—вопрошается в Коране.

Дух армии был чрезвычайно высок, зато Рани Хумаюн совсем пала духом. Не очень-то патриотично устраивать во время войны свадьбу. Ее пришлось отложить, и невесте оставалось лишь топнуть ножкой. А вот Реза Хайдар был в духе: пятнистый джип увозил его прочь от нестерпимой городской жары, да и жена порадовала, шепнув на ухо, что готовится к радостному событию. (По примеру старой Бариаммы, я покрепче зажмуривал глаза и погромче храпел, когда Реза Хайдар навещал свою половину в спальне сорока жен. И вот на подходе очередное чудо).

Услышав прощальные слова жены, Реза издал истошно-торжествующий вопль, и Бариамма, восседавшая в доме, не разобралась, в чем дело, ибо пот застил ей и без того почти невидящие глаза, и решила, что ее доблестный внук уже получил известие о великой победе. Позже, когда такое известие и впрямь пришло, старуха лишь хмыкнула:

– Да вы что, впервой слышите? Я знала об этом еще месяц назад. В ту пору народу еще не принято было говорить правду – дескать, армия терпит одно поражение за другим, – и отцам нации приходилось изрядно поломать голову, чтобы придумать тысячу и один способ, как уберечь от поражения хотя бы честь.

– Недолго мне его осталось ждать!—оглушительно ревел счастливый Реза – от его крика попадали кувшины с голов служанок, а гуси на дворе бросились врассыпную. – Ну, что я говорил?!—Он лихо заломил фуражку и, сложив руки, будто собирался нырнуть, клюнул ими жену в живот. – И-эх! Молодец ты у меня! Я уж заждался! – и умчал на север, гогоча на ходу, суля великую победу в честь будущего сына. А Билькис вдруг впервые ощутила благодатный прилив материнских чувств. Поглощенная ими, она даже не заметила слез в глазах мужа, отчего темные окружья стали казаться бархатными. А слезы меж тем явились первым намеком на то, что будущий лидер нации, так сказать, ее твердая рука, по сути своей – плакса.

Оставшись наедине с поникшей Рани Хумаюн, Билькис проворковала со значением:

– Бог с ней, с этой войной. Главное в другом: я рожу сына и женю его на твоей будущей дочке.

Привожу отрывок из рассказа (уже канонизированного в семейных кругах, а потому менять в нем хоть слово – святотатство) о жизни Резы и Билькис:

«Когда мы прослышали, что наш доблестный Резак, дерзко и стремительно атаковав противника, одержал победу и иначе как безоговорочным успехом его предприятие не назовешь, мы поначалу не поверили. В те времена даже самые чуткие уши глохли, когда по радио передавали последние известия – приходилось слушать то, что никогда, ни за что произойти не могло. Но спорить с его женой не стали: мало ли что ей взбредет в голову – ведь не сегодня завтра ей рожать сына. Да, представьте себе, единственную за всю историю победу наша армия одержала благодаря так и не родившемуся мальчику. И молва нарекла Хайдара „непобедимым“, слава его росла и крепла, тоже становясь „непобедимой“, точнее, необоримой. Она не поколебалась даже за долгие годы хайдарова унижения, когда он неуклонно шел к закату.

Итак, вернулся он героем, завоевав для нашей новой священной родины высокогорную долину – там даже архарам не выжить: до того воздух разрежен. Да, Реза Великолепный потряс всех истинных патриотов, и пусть вражеская пропаганда доказывает, что этот пятачок в горах никто и не думал оборонять, – не верьте этим россказням. В жаркой битве (в которой едва не растаяли ледники) двадцать героев, ведомые Резой, овладели долиной! Горсточка богатырей! Им сам черт не брат! Их вел неустрашимый Резвец-молодец —попробуй воспрепятствуй, попробуй встань у них на пути!

У каждого народа есть места, дорогие сердцу. «АНСУ!»—с гордостью восклицали мы и едва не рыдали от умиления. «Только подумать – он захватил Ансу-ки-Вади!»

И впрямь, этот клочок высокогорья, эта долина Слез отлилась нам горькими слезами, не менее обильными, чем почести, которые все получал наш доблестный Реза. Вскоре выяснилось, что никто толком не знает, как распорядиться ценнейшим завоеванием – в тех горах плевок застывал на лету. Никто, кроме Искандера Хараппы. Умиленную слезу он ронять не стал, а поехал прямиком в министерство по делам племен и за бесценок (расплатившись наличными) купил все скопом: и землю в долине, и заснеженные склоны гор. А спустя несколько лет там появились лыжные центры, из Европы на самолетах стали прибывать туристы, они устраивали такие оргии по ночам, что местный дикий люд оторопь брала от подобного стыдобища. А нашему доблестному Резаку с несметных хараппиных барышей и гроша не перепало. (В этом месте рассказчица всякий раз неистово шлепала себя ладонью по лбу.) Наш великий стратег – предприниматель никудышный.

А Иски Хараппа всегда и везде первым успеет. Впрочем, смеется тот, кто смеется последним…»

Здесь мне придется прервать семейную сагу. Дуэль между Резой Хайдаром (произведенным в майоры за битву при Ансу) и Искандером Хараппой, начатая (но отнюдь не законченная) из-за пресловутой долины Слез, временно откладывается. Резаку пора возвращаться в город, как-никак война закончилась; Искандера Хараппу ждет свадьба, после которой заклятые враги окажутся родственниками, членами одной семьи.

Скромно потупившись, Рани Хумаюн смотрит на отражение в блестящем браслете: к ней приближается жених, его несут на золотом подносе друзья в тюрбанах. Потом все замелькало, как в калейдоскопе. Под тяжестью украшений невеста рухнула наземь и лишилась чувств, прийти в себя ей помогла беременная Билькис, сама тут же последовавшая примеру подруги. Все родственники по очереди бросали невесте на колени деньги; она же следила из-под чадры за престарелым бабушкиным братом-распутником: он щипал за попку всех подряд родственниц мужа – ведь никто и пикнуть не посмеет, его седины тому

порукой; вот чья-то рука подняла ее чадру, и ее взору предстало неотразимое лицо Искандера Хараппы. Собственно, большая часть неотразимости таилась в нежных, еще не познавших морщин щеках двадцатипятилетнего Иски. Лицо его обрамляли длинные вьющиеся и неестественно белые – ровно чистое серебро – волосы, уже поредевшие на макушке, проглядывавшей золотистым куполом. Губы – жестокие и чувственные, полные и благородно очерченные– такие, думалось Рани, бывают у черных эфиопов; внутри у нее что-то греховно защекотало… Потом на белом жеребце вместе с мужем она проследовала в покои: стены увешаны старинными мечами, французскими гобеленами, множество книг, в том числе русских романов. Потом, трепеща от ужаса, новобрачная слезла с белого жеребца, при этом он пришел в возбуждение, так сказать, в полную боевую готовность. Потом двери за Рани захлопнулись, оставив ее на пороге супружества. Дом Бариаммы по сравнению с этим казался едва ли не деревенской хибарой. Потом, умащенная и нагая, лежала она на постели, а перед ней стоял мужчина, только что сделавший ее женщиной, и с ленцой созерцал ее красоту. Тогда-то Рани, постепенно осваиваясь с ролью жены, спросила:

– А что это за толстяк? Ну тот, в твоей свите? Под ним даже лошадь просела. Сдается мне, это про него недобрая молва идет. Говорят, он и тебя на дурной путь толкает.

Искандер Хараппа повернулся к ней спиной и закурил сигару.

– Заруби на носу, – услышала Рани, – не тебе выбирать друзей для меня.

Но даже такая реплика не поколебала благодушия Рани. Она еще не отошла от мужниных ласк и, вспомнив, как дрогнул белый жеребец под грузным всадником, как у него разъехались ноги, прыснула со смеху.

– Иски, я только хотела сказать, что стыдно ему должно быть – ишь какое брюхо отрастил.

Омар-Хайаму исполнилось тридцать, он был на пять лет старше Искандера Хараппы и почти на двенадцать – его жены. Как видите, он снова появился в моей скромной повести. Молва хвалит его профессиональные качества и хулит человеческие. Порой о нем отзываются как о настоящем выродке без стыда и совести. Ни то, ни другое ему неведомо, определила молва, точно указывая на существенный пробел в образовании. Но возможно, Омар-Хайам нарочно исключил из употребления столь опасные (даже взрывоопасные) слова, способные вдребезги разбить как мир его воспоминаний, так и сегодняшнюю жизнь.

Рани Хараппа безошибочно угадала своего противника. И сейчас в сто первый раз она содрогалась, вспоминая, как во время свадьбы посыльный передал Искандеру Хараппе телефонограмму о том, что убит премьер-министр. Искандер поднялся, призвал к тишине и объяснил онемевшим от ужаса гостям о случившемся. И тут Омар-Хайам Шакиль заплетающимся языком громогласно заявил:

– И поделом мерзавцу! Ну умер так умер, и нечего ему наш праздник омрачать!

В ту пору все было меньше: городок – по площади, Реза—по чину. Потом оба пошли в рост, причем довольно бестолково – чем больше, тем уродливее они становились. Но поначалу я обрисую, как обстояли дела сразу после раздела страны. Обитатели старинного городка привыкли жить в своем ветхозаветном захолустье, мало-помалу их размывало прибоем времени. И вдруг страшной волной накатила новость о независимости. Им стали внушать, что их древний край – новая страна. Рассудите сами, под силу ли местным жителям вообразить такое. Поэтому в «новой» стране принялись орудовать и впрямь новые люди, пришлые: либо родственники да знакомцы местных, либо вовсе чужаки, хлынувшие на новые земли Господни с востока. Все новое еще не успело пустить корни и было словно перекати-поле. Городок, разумеется, провозгласили столицей, размахнулось строительство, подрядчики отчаянно зажуливали цемент, простых людей находили убитыми (это отнюдь не привилегия премьер-министров). Кровь лилась рекой, бандиты наживали миллиарды – чего и следовало ожидать. Время в этом краю состарилось и заржавело, машину истории давно не

пускали в ход и вдруг сразу включили на полную мощность. Лес рубят – щепки летят, всякому понятно. Хотя раздавались и такие голоса: дескать, эту землю завоевали ради Господа, и может ли он допустить такое! Впрочем, все ропщущие быстро умолкали. Во время разговора (из самых добрых побуждений) их толкали ногой под столом – не обо всем уместно говорить. И не только говорить, но даже мыслить.

Как бы там ни было, но, захватив долину Слез, Реза Хайдар доказал, сколь могучий приток сил сулят иноземцы, так сказать, новый народ новой страны. Но сколько б сил ни притекло, они не помогли Резе: его первенец родился мертвым, его задушила собственная пуповина.

И вновь (как свидетельствует его бабушка по материнской линии) бравый майор чересчур дал волю слезам. Причем на людях, когда требовалось проявить твердость духа, он ревел белугой. Слезы катились по нафабренным усам, а темные круги под глазами казались нефтяными озерцами. Зато его супруга Билькис не уронила ни слезинки.

– Ну, Резвуша-дорогуша, успокойся. Выше нос! – утешала она мужа. Слова ее звенели, будто подернутые ледком отчаяния. – Ну же, он к нам вернется! У нас еще будет сын!

Бариамма же готова была жаловаться каждому встречному-поперечному:

– Тоже мне, Резак называется! Сам себе прозвище придумал, сам заставил себя в армии так величать. А на деле он – лейка или ведро худое.

Пуповина обмоталась вокруг шеи новорожденного, оказавшись для него висельной петлей (прообраз других виселиц, о которых ниже) или смертоносным шелковым шарфом разбойника-душителя. Так младенец появился на белый свет с непоправимым увечьем, попросту говоря, мертвым.

– Никому Божья воля неведома, – сказала внуку жестокосердная Бариамма. – Наше дело – смиряться и только смиряться. А ты как ребенок, перед бабами ревешь!

Странное дело: казалось, новорожденный, проявив похвальную стойкость духа, преодолел свой вроде бы непоправимый недуг. Не прошло и месяца, а то и недели, как совершенно бездыханный младенец с отличием окончил школу, за ней – колледж, успел проявить отвагу на войне, женился на самой красивой и богатой невесте в городе, занял важный пост в правительстве. Смельчак, красавец, всеобщий любимец – вот каким он был, ну а его ущербность (как-никак мертвенький) представлялась малосущественным недостатком, вроде хромоты или заикания.

Нет, нет, я доподлинно знаю, что малыш в действительности умер, не успев получить даже имени. А жил он, совершал всевозможные подвиги в безутешных сердцах Резы и Билькис. И так зримо представал он перед родителями, что их одолело желание иметь подле себя живое существо, в котором могли бы они исполниться, осуществиться. В спальне сорока жен Реза и Билькис, вдохновленные подвигами своего мертворожденного первенца (которому, однако, не умереть в их душах), не стеснялись своей страсти – они убеждали себя, что вторая беременность восполнит потерю, что Господь (а Реза верил истово) вознаградит их с лихвой, доставив им сына в целости и сохранности, как солидная фирма доставляет товар покупателю. Бариамма, не верившая, что душа может появиться на свет в другом теле, лишь скептически цокала языком: ишь какую заразную философию завезли из страны этих идолопоклонников. Странно, что она ни словом не попрекнула супругов, видно, поняла, что такой необычной фантазией они врачуют свои скорбящие сердца. А ей самой нести ответственность за неизбежные последствия – от семейного долга не уйти, как бы ни был он неприятен. Так что покуда хватит сил, она будет мириться со всеми этими «перевоплощениями». Но ворчать ей пришлось недолго. Мысль о том, что сыночек вот-вот вернется в новом обличье, уже прочно укоренилась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.